Воспоминания о М.К. Азадовском



Воспоминания о М.К. Азадовском



ВОСПОМИНАНИЯ
О М. К. АЗАДОВСКОМ



ВОСПОМИНАНИЯ О М. К. АЗАДОВСКОМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1996

Составление, предисловие, примечания И. З. Ярневского, канд. филол. наук

Научный редактор *В. П. Трушкин*, д-р филол, наук, проф.

Воспоминания о М. К. Азадовском / Сост., предисл., прим. И. З. Ярневского.— Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1996.— 208 с.

В сборник включены воспоминания об одном из крупнейших ученых-филологов — Марке Константиновиче Азадовском. Среди авторов — литературоведы и писатели, ученики и родные М. К. Азадовского. Их воспоминания дают представление о личности известного ученого, широте его научных интересов, раскрывают суть понятия «школа Азадовского».
Сборник будет интересен студентам, преподавателям, молодым ученым широкому кругу читателей.

В $\frac{4702010200—44}{М\ 179(03) — 96}$ 53.92

ISBN 5-7430-0345-9

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Имя Марка Константиновича Азадовского (1888—1954) прочно вошло в историю отечественной гуманитарной науки. Выдающийся ученый много и плодотворно работал в этнографии и литературоведении, в истории и краеведении, был одним из основоположников советской школы фольклористики и сибиреведения. Его труды не утратили своего научного значения и по сей день.

Эта книга — первый большой сборник воспоминаний о М. К. Азадовском. Ее путь к читателю был непростым.

Все включенные в сборник воспоминания написаны в 60—80-е гг., большинство из них ранее не публиковалось. Люди, знавшие М. К. Азадовского — его ученики, родные и близкие,— писали, в основном, что называется, «в стол», не для печати. Им важно было сохранить память о талантливом ученом и педагоге, замечательном человеке. И вот теперь, собранные под одной обложкой, эти воспоминания (несомненно, несущие на себе печать времени) выходят к широкой читательской аудитории.

Составитель сборника доцент кафедры литературы Бурятского государственного педагогического института, заслуженный деятель науки Бурятии И. З. Ярневский начал эту работу в середине 80-х гг. Потом рукопись была предложена им нескольким издательствам, пока, наконец, не поступила в Издательство Иркутского университета.

После сложнейших операций Иосиф Зеликович был прикован к постели, тяжело болел. Но — продолжал работать со студентами, писал статьи, рецензии, выступал в прессе, на радио и телевидении. Сборник воспоминаний о М. К. Азадовском был одной из главных забот И. З. Ярневского. Он работал в постоянном контакте с нашим Издательством, оперативно откликался на вопросы и просьбы редактора.

«Как идут Ваши дела? Какие трудности? Чем я могу помочь?» — писал он, как бы торопя время, чтобы поскорее увидеть вышедшую из печати книгу. «Вообще-то я оптимист по природе,— писал Иосиф Зеликович,—но надо смотреть на вещи реально: здоровье мое скверное... поэтому надежда увидеть сборник при жизни остается абстрактной...»

Он не успел завершить эту работу: 23 октября 1991 г. И. З. Ярневского не стало.

Остались недописанными какие-то строчки.

Остались неснятые вопросы.

Осталась почти готовая рукопись.

Завершить работу над ней Издательству помогли Константин Маркович Азадовский и Эвелина Наумовна Ярневская.

Все затекстовые примечания и сноски (кроме особо оговоренных случаев) сделаны авторами воспоминаний и составителем.

Публикуемые в приложении к сборнику письма М. К. Азадовского печатаются с сохранением, в основном, особенностей орфографии автора. Исправлены лишь очевидные описки и опечатки.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выдающийся ученый, доктор филологических наук Марк Константинович Азадовский вписал яркую страницу в летопись мировой науки. Исследователь исключительно широкого диапазона, профессор М. К. Азадовский известен как историк общественной мысли, этнограф, декабристовед, литературовед, библиограф, искусствовед. Главные же его научные интересы развивались в области русского фольклора и русской фольклористики, истории литературы. Если бросить общий взор на огромное количество книг и статей, написанных М. К. Азадовским более чем за сорокалетний период работы, то можно все его творчество определить одним емким словом — патриотизм.

Масштабность, широта и глубина исследований М. К. Азадовского, его неутомимая деятельность как собирателя, исследователя и публикатора произведений устной народной поэзии, инициатора различных периодических и научных изданий, редактора и рецензента внесли особенно весомый вклад в развитие сибирской фольклористики и литературоведения. Интерес к художественному творчеству сибиряков, сказителей и писателей, объясняется его убеждением, что Сибирь владела и владеет нетронутыми духовными богатствами, которые необходимо сделать всеобщим достоянием. Необычная любовь к Сибири объясняется еще и тем, что сам М. К. Азадовский был коренным сибиряком. В Иркутске он родился и вырос, здесь прошли его детские и юношеские годы, здесь же началась научная деятельность.

Будучи студентом Петербургского университета (1907—1913), М. К. Азадовский принимал участие в этнографических экспедициях Общества изучения Сибири. Учителя М. К. Азадовского — крупнейшие русские ученые — академик А. А. Шахматов, И. А. Шляпкин, историк литературы и библиограф С. А. Венгеров, этнограф Л. Я. Штернберг — увидели в нем талантливого юношу и приобщили к научной работе.

По поручению Академии наук М. К. Азадовский в 1913—1915 годах совершил несколько длительных поездок на Амур и в верховья реки Лены с целью установить истинную картину состояния устно-поэтической традиции в Сибири. Сохранившиеся документы и материалы этих экспедиций свидетельствуют о том, что поездки были чрезвычайно сложными. Нетрудно представить себе «страшную глушь за Байкалом» (Н. А. Некрасов) в дореволюционный период, когда было тяжело раздобыть продовольствие, найти транспорт. Бездорожье, огромные расстояния между селами, сибирские морозы и сухая ветреная весна, естественно, влияли и на самочувствие, и на настроение. Марка Константиновича не страши-

ли трудности быта и записи текстов. Когда не было никакого транспорта, он шел пешком; сотни километров проплыл на плотах и лодках по бурным сибирским рекам от селения к селению.

М. К. Азадовский собрал тогда редкий по содержанию материал, который, к сожалению, постигла трагическая судьба. В 1918 году, уезжая в очередную поездку в Сибирь, Марк Константинович оставил все материалы в Петроградском Государственном банке на хранение. Но они из банковского сейфа исчезли, вероятно, их кто-то выбросил. Гибель собранных материалов М. К. Азадовский называл «крупным несчастьем»: им было записано более 1000 песен, около 1000 частушек, несколько десятков похоронных причитаний, 50 заговоров.

М. К. Азадовский неслучайно избрал объектом обследования те места, где до него побывали историки, этнографы, путешественники: их фольклорные записи, наблюдения и выводы сводились к отрицанию бытования фольклора в Сибири. Перед Марком Константиновичем стояла сложная задача: проверить на месте наблюдения предшественников — или подтвердить их выводы, или опровергнуть. Итогом полевых исследований стали работы, не потерявшие научного значения и в наши дни: «Амурская частушка», «Заговоры амурских казаков», «Песнь о переселении на Амур», «Ленские причитания», сборник «Сказки Верхнеленского края» и другие. Эти исследования в корне опровергли ошибочные мнения, сложившиеся в науке, об отсутствии в Сибири фольклорной традиции, а у сибиряков—способности к поэтическому творчеству.

Оперируя собственными записями, М. К. Азадовский категорически заявлял, что сибиряки хранят в своей памяти произведения устной поэзии, бережно к ним относятся, передают от поколения к поколению, что Сибирь богата памятниками фольклора, а его носители отличаются художественным чутьем, талантом, с большим искусством исполняют песни и сказки, легенды и предания.

В селах, расположенных по берегам Верхней Лены, М. К. Азадовскому удалось выявить великолепно сохранившуюся обрядовую поэзию, установить следы еще сравнительно недавней эпической традиции и обнаружить значительные сказочные богатства.

Просматривая фольклорные записи ученого, хранящиеся ныне в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки в Москве, приходится только удивляться и восторгаться той энергией, с которой собиратель работал. Трудно представить себе, что один человек обнаружил столько материала, сколько способна собрать большая экспедиция.

М. К. Азадовский не только сам активно записывал фольклорный материал в селах Сибири — он стал одним из крупнейших организаторов собирательской и научно-исследовательской работы в области сибирского фольклора. Его исследование «Беседы собирателя» (1925) явилось своего рода программой по сбору и изучению народной поэзии Сибири.

В 20-е гг., будучи профессором Института народного образо-

вания в Чите, затем — заведующим кафедрой литературы в Иркутском университете, Азадовский одновременно возглавляет Сибирский отдел Географического общества и с присущей ему энергией, любовью к устной народной поэзии организует многостороннее изучение фольклора, истории, этнографии Сибири. По его инициативе в обширнейшем крае работали фольклорные экспедиции, он привлек к собирательству краеведов, литераторов, учителей.

М. К. Азадовскому принадлежит «открытие» талантливых сказочников Сибири, среди которых были Е. И. Сороковиков-Магай, Д. С. Асламов, Н. О. Винокурова и многие другие. О их творчестве ученый написал капитальные исследования и опубликовал записанные от них сказки. Именно М. К. Азадовский одним из первых познакомил европейского читателя с произведениями устной народной поэзии Сибири и поведал о творчестве замечательных исполнителей. Так, например, перу М. К. Азадовского принадлежит фундаментальная статья о творчестве известной сибирской сказительницы Н. О. Винокуровой. Статья впервые опубликована в 1926 г. в Хельсинки (переведена на немецкий преподавателем Иркутского университета Оскаром Мейером), а на русском языке она увидела свет спустя более 50 лет в сборнике М. К. Азадовского «Статья и письма. Неизданное и забытое» (Новосибирск, 1978). Статья «Сибирская сказочница Н. О. Винокурова» открыла новый аспект в изучении художественной индивидуальности сказочников. Острая постановка вопроса о необходимости исследовать сказочника в литературоведческом плане оказалась новостью не только для западноевропейской фольклористики, которая в целом игнорировала проблему сказочника, но и для русской науки, занимавшейся сказочником преимущественно в биографическо-этнографическом плане. Статья М. К. Азадовского указала пути последующих исследований и получила известность также за пределами Советского Союза, вызвав сочувственное отношение не только в среде фольклористов (например, в работах чешского ученого Й. Поливки), но и у представителей смежных областей знания.

Позднее, в 1940 г., в Ленинграде вышла в свет книга «Сказки Магая». В ней были опубликованы сказки, записанные от Е. И. Сороковикова-Магая М. К. Азадовским и Л. Е. Элиасовым. Заметка от редактора и предисловие «Сказочник Тункинской долины» написаны Марком Константиновичем; им же осуществлена общая редакция книги.

«Сказки Магая» — первый сборник, целиком посвященный творчеству одного сибирского сказителя. Он вошел в золотой фонд лучших книг по фольклору и сегодня является библиографической редкостью. Для М. К. Азадовского «Сказки Магая» имели особое значение: здесь он впервые применил экспериментальный метод публикации фольклорных текстов, записанных от одного сказителя разными собирателями и в значительных временных интервалах. В комплексе получился довольно своеобразный материал, позволяющий разобраться в творческом методе сказителя.

Капитальные исследования М. К. Азадовского «Эпическая традиция в Сибири», «Сказки Верхнеленского края», «Русские сказочники», «Сказочник Тункинской долины», «Русская былевая традиция в Сибири и на Алтае» и другие внесли в науку много нового, открыли замечательную страницу в фольклоре сибиряков, подчеркнули богатство, своеобразие художественного вкуса народа.

После переезда М. К. Азадовского в Иркутск (1923) город становится центром гуманитарных исследований на территории Забайкалья и, пожалуй, единственным пунктом организации фольклорно-этнографических работ.

В 1925 г. М. К. Азадовский был включен в состав Бюро краеведения при Академии наук как представитель краеведческих организаций Сибири. Годом позже в Новосибирске на Первом сибирском научно-исследовательском съезде М. К. Азадовский выступил с докладом «Место фольклора в организации краеведческих изучений».

По инициативе М. К. Азадовского в Иркутске состоялся 1-й Восточно-Сибирский краеведческий съезд фольклористов и этнографов (11—18 января 1925 г.), на котором ученый выступил с проблемными докладами «Задачи изучения устного народного творчества Сибири» и «Издание краеведческой литературы». Съезд определил дальнейшие организационные пути и методы фольклорной работы, которая была сосредоточена в подразделениях Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества и музеях Сибири.

В 1923 г. М. К. Азадовским в Иркутске был основан первый советский фольклорно-этнографический журнал «Сибирская живая старина», сплотивший научные силы Сибири и открывший немало интересных, ранее неведомых глав истории, этнографии, литературы и фольклора края. Журнал сразу же приобрел большую популярность и вызвал восторженные отклики. На его страницах выступали известные ученые, писатели, литературоведы. Иркутск выдвинулся на одно из ведущих мест среди других краеведческих центров России. Журнал пользовался большой популярностью среди ученых Финляндии, Германии, Чехословакии и других стран Европы.

М. К. Азадовский внес существенный вклад в разработку большой и сложной темы — декабристы в Сибири. Этим он занимался на протяжении всей жизни, написал несколько работ и опубликовал массу материалов, связанных с пребыванием декабристов в Сибири.

Марк Константинович положил начало научному изучению деятельности декабристов в Сибири, приступил к публикации историко-политических, философских, фольклорно-этнографических произведений, мемуаров, дневников, литературного и эпистолярного наследия декабристов, чтобы показать их огромный вклад в развитие науки и просвещения.

Декабристоведение Сибири многим обязано трудам М. К. Азадовского, создавшего в Иркутске центр декабристоведческих исследований и публикаций. В 1925 г. в Иркутске вышел сборник

«Сибирь и декабристы» под редакцией М. К. Азадовского, М. Е. Золотарева, Б. Г. Кубалова. В сборнике была опубликована статья М. К. Азадовского «Странички краеведческой деятельности декабристов в Сибири». В ней автор поставил несколько кардинальных вопросов: какова роль декабристов в познании Сибири; что сделали они в этой области; каковы результаты их деятельности; какова судьба работ декабристов? В Иркутске не было многих материалов самих декабристов, не было возможности «добыть» некоторые журналы и газеты, издававшиеся в XIX веке, не было необходимых книг. Поэтому и название работы — только «Странички...», эпизоды, отдельные моменты. М. К. Азадовский мечтал когда-нибудь возвратиться к теме и раскрыть ее в полном объеме. Но и «отдельные моменты», представленные в статье, вскрывают значение краеведческой работы «государственных преступников».

Под руководством и при непосредственном участии Азадовского был издан в 1927 г. в Улан-Удэ сборник «Декабристы в Бурятии». Это был, пожалуй, первый сборник, в котором были опубликованы архивные материалы, раскрывающие характер краеведческой работы декабристов в Бурятии. М. К. Азадовский вновь ввел в научный оборот забытые, если не сказать утраченные, работы декабриста Н. А. Бестужева «Гусиное озеро» и «Бурятское хозяйство».

Особую главу в декабристоведении занимают письма первых русских революционеров. По ним можно судить и о характере деятельности декабристов и представить общий фон их жизни на каторге и поселении. Над письмами декабристов М. К. Азадовский работал много и упорно, значительную часть он успел опубликовать. Так, например, в 1929 г. в Иркутске (в соавторстве с И. М. Троцким) М. К. Азадовский опубликовал 29 писем братьев Бестужевых под названием «Письма из Сибири». В те годы многие архивные источники еще не были доступны ученым, поэтому в примечаниях к письмам М. К. Азадовский и И. М. Троцкий отступили от обычного биографического уклона, насытив комментарий историко-этнографическими, краеведческими, географическими и историко-литературными разъяснениями.

В Иркутске М. К. Азадовский (в соавторстве с И. М. Троцким) много работал над составлением тома «Воспоминания Бестужевых». Этот гигантский труд, содержащий вводные статьи и обстоятельные комментарии, вышел в Москве в 1931 г., а 2-е издание «Воспоминаний Бестужевых», расширенное и переработанное, вышло под редакцией М. К. Азадовского, с его статьей и комментариями в издательстве АН СССР в 1951 г.

М. К. Азадовский пристально следил за появлением новых монографических исследований, сборников, очерков, статей о декабристах, радовался появлению в печати интересных работ, огорчался небрежностям и упущениям. Он часто выступал с критическими разборами книг, причем, рецензируя ту или иную работу, вводил только ему известные материалы, чтобы расширить или углубить опубликованное другим автором. Но, как правило, М. К. Азадовский не прощал неточностей, отсутствия научной

доказательности, многословия, отсутствия указаний на источники.

В 1930 г. М. К. Азадовский покинул Иркутск и переехал в Ленинград, где возглавил работу по фольклористике в Академии наук и Ленинградском университете. По его инициативе и при его живейшем участии осуществлялись самые разнообразные предприятия научного, издательского и педагогического характера, определившие общее направление развития советской фольклористической науки.

Деятельность М. К. Адазовского в Ленинграде (1930—1942) настолько насыщена филологическими событиями и крупными фольклорно-литературоведческими исследованиями, что могла бы составить самостоятельное описание. Чтобы представить себе характер и объем этой деятельности, достаточно сказать, что за 12 лет ленинградского периода М. К. Азадовский написал в общей сложности около 200 работ по фольклористике, литературоведению, библиографии, этнографии, истории и т. д.

Своеобразный памятник М. К. Азадовскому — осуществленные по его инициативе и при его непосредственном участии семь выпусков сборника «Советский фольклор». Издание сборника было прервано Великой Отечественной войной.

Академик В. М. Жирмунский в очерке о М. К. Азадовском писал, что большое научно-общественное значение имели также обзорные доклады и статьи ученого, подводящие итоги работе советской фольклористики к 15-ти и 20-летию Октябрьской революции. Переведенные Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей (ВОКС) на иностранные языки (французский, немецкий, английский), они содействовали ознакомлению научной общественности зарубежных стран с методами и достижениями отечественной фольклористики. Один из очерков, посвященных советскому фольклору, был переведен и напечатан в центральном органе французской компартии «Юманите» (1933. 15 дек.).

Труды М. К. Азадовского были известны во многих странах Европы. Они оказали благотворное влияние на развитие западноевропейской фольклористики и литературоведения, им была дана высокая оценка в журналах Англии, Франции, Польши, Чехословакии, Германии. Книги Марка Константиновича печатались в Праге и Хельсинки. Проблемы западноевропейской фольклористики М. К. Азадовский продолжал исследовать в работе «Краткий очерк русской и западноевропейской фольклористики». Рукопись (134 машинописных страницы) хранится в Отделе рукописей РГБ.

Большую известность в странах Западной Европы получил многолетний труд ученого «Русская сказка. Избранные мастера» в двух томах, вышедший в издательстве «Academia». Отзывы на двухтомник, опубликованные во многих странах Европы, носили благодарный и восторженный характер.

Тяжело больной М. К. Азадовский был эвакуирован в 1942 г. из блокадного Ленинграда в родной Иркутск, где он сразу же деятельно включился в научно-исследовательскую работу по фольклору и литературе Сибири. Так, например, в 1943 г. он организовал в Иркутске совещание фольклористов и сказителей Си-

бири по вопросам фольклора Великой Отечественной войны. Это было первое совещание, наметившее программу собирательской и исследовательской работы по горячим следам военных событий. В Иркутске он писал статьи, очерки, рецензии, работал над книгой «Очерки литературы и культуры Сибири», читал лекции по фольклору и русской литературе в Иркутском университете и педагогическом институте.

В 1945 г. М. К. Азадовский возвратился в Ленинград.

Круг научных интересов М. К. Азадовского необычайно широк. Он автор исследований о творчестве Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Языкова, Некрасова, Короленко, Ершова, Омулевского и других классиков русской литературы. Однако в центре внимания ученого всегда оставалась литература Сибири.

М. К. Азадовский обладал не только гигантской эрудицией и высочайшей культурой, но и поразительной работоспособностью. В указателе его научных трудов (Новосибирск, 1983) составитель библиографии В. П. Томина называет более 500 работ. Среди них есть капитальный и единственный в нашей науке двухтомный труд «История русской фольклористики», над которым ученый работал всю жизнь (оба тома изданы уже после смерти автора). Сегодня двухтомник «История русской фольклористики» — настольная книга для ученых различных отраслей гуманитарных знаний. Труд этот хорошо известен и за границей, в свое время он получил высокую оценку западных специалистов.

М. К. Азадовский многое успел, но немалая часть написанного им осталось неопубликованной при его жизни. Следует подчеркнуть, что тяжелые потрясения, пережитые им в 1949 г. (клеветнические наветы, обвинение в космополитизме, «разоблачительные» статьи и доклады, отстранение от работы), не сломили волю ученого-исследователя. Он продолжал работать, хотя был отторгнут административно от Сектора фольклора Института русской литературы АН СССР и от кафедры русского фольклора Ленинградского университета, работать, казалось, с удвоенной энергией. Он торопился. Многое еще хотелось сделать: он был полон замыслов, имел множество «заготовок»... Но силы покидали его. К прочим невзгодам прибавилась тяжелая болезнь сердца.

24 ноября 1954 г. Марк Константинович скончался в Ленинграде.

* * *

Чем дальше относит нас время от эпохи, когда жил и работал Марк Константинович Азадовский, тем ощутимее становится значение его наследия, рельефнее просматриваются его широкая образованность, острота и глубина исследовательской мысли. Его труды заняли почетное место в истории науки, а многочисленные ученики достойно несут эстафету учителя в различных вузах и научно-исследовательских институтах страны.

В 80-е гг. я работал над монографией «Марк Азадовский и

русская фольклористика Сибири» (готовится к печати в издательстве «Наука» в Новосибирске). В поисках материала я обратился к некоторым коллегам, ученикам и родственникам Марка Константиновича с просьбой дополнить или уточнить мои представления об ученом. И свершилось чудо! Почти все адресаты живо откликнулись на мои письма. Его любят и помнят те, кто с ним работал, кто у него учился, кто дружил или встречался с ним. В комплексе микромемуары воссоздают колоритный образ Человека, Ученого и Гражданина, каким был М. К. Азадовский, в самом высоком смысле этих слов.

В сборник включены ранее опубликованные воспоминания Ф. А. Кудрявцева, Г. Ф. Кунгурова, В. С. Бахтина, Е. В. Баранниковой, Д. М. Молдавского. Все остальные материалы публикуются впервые, либо в новой редакции. Заметки Л. В. Азадовской, жены и друга Марка Константиновича, любезно предоставлены Константином Марковичем Азадовским из семейного архива; они значительно расширяют и углубляют представление о жизни, многогранной деятельности и характере отношений к людям М. К. Азадовского.

Приложение к сборнику составил ряд неизвестных ранее документов: письма М. К. Азадовского Президенту АН СССР С. И. Вавилову и депутату Верховного Совета СССР профессору С. Ф. Баранову. Эти письма — документ эпохи, когда запросто низвергались личности, составляющие славу и гордость отечественной науки.

Дополняет приложение хронологическая таблица основных дат жизни и деятельности М. К. Азадовского.

Сердечно благодарю всех авторов, которые приняли участие в создании сборника, а также К. М. Азадовского (Санкт-Петербург), доктора филологических наук Е. В. Баранникову (Улан-Удэ), профессора В. П. Трушкина (Иркутск), доцента А. П. Селявскую (Иркутск), кандидата филологических наук М. Я. Мельц (Санкт-Петербург), профессора М. П. Хамаганова, (Улан-Удэ), доцента А. К. Паликову (Улан-Удэ), жену и друга Э. Н. Ярневскую за рецензирование, ценные советы, рекомендации и пожелания, данные ими в процессе работы над книгой.

И. З. Ярневский

А. ОЛЬХОН

БАЙКАЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ

Посвящается
М. К. Азадовскому

Говорят, Байкал—седой!
Ты не верь.
Он такой же молодой
И теперь.

Это ты, мой милый друг,
Стал седеть,
И тебе уж недосуг
Песни петь.

Острова лазурной мглы
Далеки.
Стали весла тяжелы
Для руки.

В бурю парус озорной
Не поднять.
Серых чаек над водой
Не догнать.

Постарели мы с тобой
Навсегда.
Но шумит, поет прибой.
Бьет вода.

Молодой трепещет шквал
В устьях рек,
Дышит вечностью Байкал
Сотый век.

Погляди же на него,
Будь таким,
Волей сердца своего
Молодым.

Чтобы с песнею волна
В вечность шла.
Чтобы в душу седина
Не прошла.

Л. В. Азадовская

СЕРДЦЕ НЕ ЗНАЛО ПОКОЯ

...Реки Ангара и Кая, Байкал, Иркутск — места, где он родился и вырос.

Мальчиком 10—11 лет Марк прочитал «Книгу былин. Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии» Авенариуса. Это было первое знакомство с народным творчеством. Отсюда у него пробуждается интерес к народной поэзии.

Дальше он читает жадно, запоем, днем и ночью, читает в ущерб здоровью, занятиям в гимназии и играм. В старших классах Иркутской гимназии того времени был кружок (литературный и самообразования), где наиболее способные и передовые юноши проводили все время. Марк Азадовский входит туда и, будучи самым младшим по годам, поражает старших товарищей своей начитанностью: к 14 годам он прочел буквально всю классику — и русскую, и западноевропейскую. Рефераты и доклады, которые он делал гимназистом, товарищи по этому кружку помнят и сейчас, спустя 50 лет.

Иркутск того времени был местом сосредоточения политических ссыльных. Марк был со многими знаком, дружен. Особенно большое влияние оказали на него народовольцы, например, А. А. Криль.

Это были предгрозовые 1902—1903 годы. Со всей страстностью и кипучестью своей натуры М. Азадовский кидается в эту поднимающуюся волну — участвует в гимназических сходках, забастовках, арестовывается, привлекается к суду, исключается из гимназии и т. п.

Вот истоки всего прогрессивного и передового, что было в его натуре.

Все свои гимназические годы Марк был бессменным посетителем театров: и драматического, и оперного. В Иркутске тех лет был прекрасный театр, в последние годы сво-

---

Подготовлено по материалам писем Л. В. Азадовской литературоведу М. А. Сергееву.

ей жизни Марк Константинович много вспоминал о нем и хотел даже писать. Он ходил на все гастроли, которые имели тогда место в Иркутске. Приехав в Петербург в 1907 году, он был уже сложившимся театралом с вполне определенными вкусами и потребностями. Театру он придавал колоссальное значение, считая его второй школой, постоянно ругал меня, что я совсем не воспитываю в этом отношении Котика.

Годы студенчества — Петербург. М. Азадовский не сразу находит себя. Первый год он проводит на юридическом факультете, потом уже переходит на филологический. Но и тут он колеблется. Его влечет к себе искусство. Каждое воскресенье он часами бродит в полном одиночестве по пустынным тогда залам Эрмитажа. Чувство красоты, чувство прекрасного было основным элементом его души.

На эти же годы падают поездки за границу. В 1906 году М. Азадовский был недолго — всего два месяца — в Германи, в 1910 году он прожил там полгода. Бродил с мешком за плечами по Швейцарии. Был в Париже в Лувре. Месяцами жил в Мюнхене, проводя целые дни в музеях и особенно в Пинакотеке. Здесь Марк особенно сильно колебался: не бросить ли совсем филологию и не отдаться ли всецело искусству?

Все эти искания, поиски, вся эта внутренняя работа не проходят даром. Внешне это находит выход в работах о Федотове, а внутренне это делает его человеком широкого кругозора, безукоризненного вкуса. Замечательно, что в последний год жизни Марк Константинович вернулся опять к своему юношескому увлечению искусством. Он загорелся картиной Репина «Не ждали», ища разрешения этой загадочной фигуры, вернувшейся так неожиданно домой. Я таскала ему пачками книги из библиотеки, он часами читал, делал какие-то выписки, пробовал сам писать задуманный им этюд об этой картине, спорил с приходящими к нему искусствоведами. У меня сохранился блокнот с его карандашными записями (это январь—март 1954 года), на обложке его рукой выведено: «Репин».

Неоднократно он говорил мне: «Эх, Мусенька, кабы не эти проклятые деньги! Если б я не должен был писать эти дурацкие рецензии и зарабатывать нам на хлеб! Эх, кабы выиграть тысяч сто, бросил бы я все, да засел бы года на два-три за книги. Перечел бы все да и написал бы книгу

«Пейзаж в русской литературе». С этой мыслью он носился постоянно.

Всю зиму 1953—1954 годов, лежа в постели, Марк Константинович не выпускал из рук книги Федорова-Давыдова «Русский пейзаж XVIII — начала XX века».

Возвращаюсь обратно к студенческим годам. Многие сибиряки, приехав в Петербург, быстро ассимилировались там и очень скоро теряли всякие связи с Сибирью. Это мне говорили сами сибиряки. Не то было с Азадовским. Не говоря уже о том, что он состоял в Сибирском землячестве и играл там видную роль, он был связан тысячью всяких отношений со своей родиной.

Еще будучи студентом, он твердо говорил своим друзьям: «Я вовсе не собираюсь жить всегда в столице. Я вернусь в Сибирь и буду работать в Сибири».

В эти годы происходит окончательное становление его научных интересов, он находит себя как ученого. Появляются Шляпкин и Шахматов, Штернберг и Венгеров, каждый из них приносит что-то свое.

И вот из стен университета выходит Азадовский.

В его жизни появляется В. К. Арсеньев. Сначала это знакомство, потом дружеская связь, которая длится до конца жизни Арсеньева, совместные занятия в этнографическом кружке, которым руководил Арсеньев.

В 1925 году праздновался 200-й юбилей Академии наук. Делегатами на нем были: от Дальнего Востока — Арсеньев, от Сибири — Азадовский. Затем жизнь разводит их в разные стороны, но связь не прекращается — это постоянный обмен своими книгами, постоянная дружеская переписка. Через 20 лет после смерти Арсеньева Марк Константинович снова возвращается к нему. Пишет книгу о Владимире Клавдиевиче, задумывает еще ряд работ об Арсеньеве, в частности биографический очерк для юношества (для «Молодой гвардии»).

Чем больше я думаю о Марке Константиновиче, тем больше хочется сказать о нем. Так многогранна, так разносторонне богата была его личность. Трудно даже охватить все сразу...

Что было для него основным в жизни? Труд, творческий труд и наука. М. Г. Савина сказала: «Сцена — моя жизнь». Я думаю, что для Марка Константиновича наука и

творческий труд значили больше, чем его собственная жизнь. В октябре—ноябре 1954 года он неоднократно говорил мне: «Скорей бы умереть! Поправиться я все равно не могу, вылечить они меня не могут. Работать, значит, я не могу, а зачем же тогда жить?» И несмотря на это он продолжал работать. Весной 1945 года у него был первый инфаркт, страшно тяжелый. И тем не менее кривая его научных работ не ползла вниз. Затем 1949 год. Он получает второй удар[1], может быть, еще более страшный, чем инфаркт 1945 года. И все же ничто не может его сломить. Он попрежнему в восемь утра сидит за своим письменным столом и работает. Часа в два дня идет в библиотеки, в архивы и работает там. Вечером (часов до одиннадцати) он читает, просматривает новую литературу, отвечает на письма, делает различные выписки — занимается, но уже более легким, не творческим трудом. Весь стиль жизни, весь распорядок дня ученого сохранены. Он перенес зимой 1950—1951 годов две страшные урологические операции. Все это отняло у него ровно шесть месяцев жизни, а научная продукция шла вверх и вверх. Что мог бы сделать этот человек, если б он был здоровее и если б судьба не была к нему так безжалостна!

29 января 1953 года у него второй инфаркт. После этого начался постепенный уход из жизни, медленное умирание. 4 октября 1953 года состоялся большой консилиум (кардиолог М. Э. Мандельштам, невропатолог Аранович, терапевт Певзнер и ларинголог, забыла его фамилию); смертный приговор был объявлен. Только приведение его в исполнение задержалось еще на год. Умереть он, конечно, должен был в октябре 1953 года: сердца-то ведь уж и тогда никакого не было. Это только такой гениальный врач, как М. Э. Мандельштам сумел бороться со смертью, отвоевывая у нее день за днем, и в результате продержаться еще тринадцать с половиной месяцев. И все же Марк Константинович продолжает работать, работать, хотя смерть наступала уже ему на горло, и ему нечем было дышать... Это вовсе не красивые слова, а действительно так и было. Правду говорят: чтобы как следует разглядеть высоту горы, надо отойти от нее подальше. Когда я была на вершине этой горы, я чего-то не замечала, а сейчас, оглядываясь назад, я просто не верю многому...

Вот сентябрь 1953 года — это мучительнейшие бессонные ночи, он задыхается, кашляет... Он потерял совсем голос — это какое-то шипение, сипение, хрипение, клоко-

тание в груди и в горле. И вот в этом состоянии он диктует мне дополнительный отзыв о Петряеве (для приема его в ССП). Он не говорит, а шепчет едва-едва. Лицо и шея наливаются кровью, в горле что-то бешено клокочет, его заливает мокротой... Возмущеная и негодующая, я вскакиваю из-за машинки и говорю, что это живодерство, издевательство и что я не буду работать при таком его состоянии и прочее. Вот его слова: «Мусенька, но я должен же это продиктовать, *пока я еще могу сегодня.* Завтра может быть еще хуже. Ты подумай только, как это важно для Петряева. Ведь человека принимают в Союз!» И я снова села за машинку, и отзыв был дошептан до конца, и Петряев принят в Союз.

Октябрь 1953 года. Он лежит в постели, живет на одном кислороде, вливаниях и уколах. Приходят корректуры первого декабристского тома «Литературного наследства». Мандельштам говорит: «Нечего и думать ему их давать». А я говорю: «Нет, дать надо. Это для него важнее, чем кислород». И я качала без устали кислородные подушки, а между ними он читал и правил корректуры... Как зато он радовался, когда в апреле 1954 года держал этот том в своих руках!

1953—1954 годы. У него была постоянная связь с редакцией «Литературного наследства». Все, приезжавшие оттуда (Зильберштейн, Богаевская и другие сотрудники), обязательно были у нас. Он со всеми разговаривал исключительно на научные темы, спорил и поражал всех своим живым интересом решительно ко всему, своей осведомленностью и начитанностью (он следил за всеми газетами и журналами изо дня в день). Люди говорили мне: «Это невероятно! Не может быть, чтобы человек лежал в постели уже седьмой или восьмой месяц. Он ведь даже и не вспоминает о своей болезни». Все время ему присылали на отзыв и на рецензию различные статьи, ставили перед ним различные вопросы. Он все прочитывал, на все отвечал, каждый день я писала под его диктовку.

«Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов» (под редакцией проф. П. Г. Богатырева. М.: Учпедгиз, 1954) — этот том появился в продаже через несколько дней после его похорон. Все время он работал над ним. Сколько он сделал для него как редактор, как консуль-

тант! Все время к нему обращались за помощью. Разве Марк Константинович мог отказать кому-нибудь, когда он все время горел желанием что-то сделать, кому-то помочь. Редактор Учпедгиза Н. И. Муравьева последний раз была у него 1 октября 1954 года. После ее ухода ему сделалось совсем плохо. 15 ноября мне позвонили из Москвы, что вышел сигнальный экземпляр, не надо ли прислать. Я сказала: «Поздно». Он лежал оглушенный пантопоном, почти без сознания, бредя и заговариваясь... Вся работа над этой книгой пала на 1953 и 1954 годы.

Книга «Декабристы. Новые материалы» под редакцией профессора М. К. Азадовского (Москва, 1955. Министерство культуры РСФСР; Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В. И. Ленина. Труды Отдела рукописей. 372 с.) вышла в августе 1955 года, но всю работу над ней он провел в 1953—1954 годах. Заведующая отделом рукописей С. В. Житомирская несколько раз приезжала к нему на консультацию из Москвы. Это было мучительно, каждый раз она договаривалась со мной по телефону о часах своего приезда. Каждый раз надо было угадать и выбрать такой момент, когда она хоть сколько-нибудь да сможет посидеть возле его постели. Последний раз она была в середине ноября 1954 года. Она мне позвонила, спросила разрешения придти. Я сказала: «Бесполезно». И это было действительно так. Обе эти книги, над которыми он так трудился, остались им неувиденными.

М. Ю. Барановская работала над книгой о Николае Бестужеве. Марк Константинович был ее редактором. Главу за главой М. Ю. Барановская присылала ему. Он все прочитывал, отмечал, а потом диктовал мне. Наконец, в июне 1954 года он категорически отказался от дальнейшего редактирования. Книга шла в очень быстрых темпах в издательстве и в типографии. Он боялся, что со своим здоровьем он всегда невольно может подвести Барановскую, сорвать сроки выхода книги. Сейчас книга вышла в свет, на титульном листе стоит имя другого редактора, но настоящим вдохновителем ее был М. К. Азадовский. А с какой болью, с какой горечью он отказался от редактирования этой книги! Надо ведь было знать, как он относился к Николаю Бестужеву, как он любил его. Для него это не был исторический персонаж, человек, умерший 100 лет назад. Он знал его, понимал, ощущал и любил как своего близкого друга. Весной 1955 года должно было отмечаться столетие со дня смерти Н. Бестужева. Он собирался к этому

моменту написать о нем книгу и даже в августе 1954 года послал об этом заявку в Гослитиздат. Много раз в октябре — ноябре 1954 года он шептал, поднося руку ко лбу: «Много, ах как тут много... И неужели все это должно погибнуть!» (это предсмертные слова Николая Бестужева).

Разве я могу сейчас вспомнить и перечислить всех научных работников, которые за эти два года перебывали у него и которым он так или иначе старался помочь, что-то сказать, что-то дать. Вот А. А. Богданова из Новосибирска, она заканчивает докторскую диссертацию о Вяч. Шишкове. Последний раз она была у него в октябре 1954 года. Вот А. И. Малютина из Енисейска, которая тоже была у него в октябре и тоже советовалась с ним о теме своей докторской диссертации. Вот девушка из Томска (забыла ее фамилию, помню только, что она работает там в партшколе). Шатрова Галина Петровна (сохранилась их совместная фотография — лето 1954 г. в Елизаветине), заезжавшая в Ленинград специально, чтобы посоветоваться с ним о своей декабристской диссертации. И т. д., и т. д.

Когда И. С. Зильберштейн писал очень большую работу о Николае Бестужеве как художнике, он сказал: «Марк Константинович, Вы будете первым рецензентом и читателем». И вот он ждал эту работу и волновался. Боже мой, как волновался, что он не успеет ее увидеть... Между 10 и 15 ноября пришла наконец эта рукопись. С какой жадностью он набросился на нее! Он не выпускал ее из рук и все те небольшие промежутки сознания, которые дарила ему еще жизнь, тратил на нее. Поля ее испещрил своими пометками и замечаниями. Эти карандашные пометки писаны уже не его почерком... В январе 1955 года в Москве я сидела возле И. С. Зильберштейна, пыталась расшифровать их. Многое я прочла, а многое так и осталось непонятным.

И затем он продиктовал письмо, свое последнее письмо Зильберштейну. В нем он давал очень высокую оценку всей работы в целом, советовал сделать из нее докторскую диссертацию, рекомендовал будущих оппонентов для защиты. И там есть такая фраза: «Кем заменить Азадовского, не знаю».

Он был большим патриотом, человеком, горячо и искренно любившим свою родину. Причем его патриотизм не был медалью, которую вытаскивают раз в год из футляра и прикалывают на грудь. Нет, это чувство любви к своему народу, к своей стране, к Сибири, к России составляло одну

из черт его характера, одну из его основных особенностей, без которых он был бы не он. Я вспоминаю июль — август 1941 года: растерянность, страхи, паника. Оставлены Витебск, Полоцк, Псков, Луга, Гатчина... Немцы у Пулкова. Никогда, никогда не было в нем и тени сомнения! Я даже не могу сказать, чтобы он верил в победу. Он просто *знал*, что она будет и придет. Он знал это так же, как мы с Вами знаем, что вслед за наступлением вечернего сумерка и ночной тьмы выйдет солнце. Своим умом историка он понимал, что фашизм — это вчерашний день...

Он не мог оставить Ленинград в эти месяцы (июль — август 1941 года), несмотря на всеобщий разъезд и массовую эвакуацию, несмотря на то, что в Сибири (в Иркутске) его ждал родной дом (мать и сестра), несмотря на то, что я была уже на восьмом-девятом месяце беременности. Он требовал и умолял, чтобы я уезжала одна в Сибирь, у нас были жаркие схватки и горячие споры. На счастье я вспомнила старую, как мир, формулу: «Где ты, Кай, там и я, Кайя». После этого он замолчал.

Начало осады Ленинграда, первые бомбежки и артобстрелы... С 30 августа по 20 сентября я находилась в родильном доме Видемана, на 14-й линии Васильевского острова. Марк Константинович был в это время один. Во время всех воздушных тревог и налетов он заходил в комнату к Ф. Нотгафту (коллекционер), усаживался к нему на диван, и у них начинались бесконечные разговоры, дебаты и воспоминания о писателях, поэтах, артистах, художниках, литературе, поэзии, искусстве, театре... Затем слышался рев сирены, отбой воздушной тревоги. Они оба вскакивали и говорили, что пора вернуться к повседневным делам, к обыденной жизни.

Каждый день он ходил ко мне на 14-ю линию с передачей — носил письма, книги и пирожки из Дома ученых. Экспедиции эти длились часами, по пути случалось две-три тревоги, Марк Константинович часами простаивал во всяких дворах и подворотнях.

14 сентября (день рождения Котика) был особенно тяжелым, тревоги следовали одна за другой, промежутки были совершенно ничтожными. Телефоны не работали, трамваи тоже стояли. Марк Константинович пробрался к Видеману уже совсем в темноте. В приемном покое, на обычном подъезде, ему сказали, чтобы он бежал скорее в бомбоубежище, что я там давно (для безопасности детей рожали тогда прямо в бомбоубежище), и что, кажется, уже кто-то там родился. Он опрометью кинулся туда. Когда он вылезал

из бомбоубежища, прижимая к груди мою записочку, которую я кое-как нацарапала, была уже полная ночь. Небо освещалось только отблесками пожарищ, которые полыхали кругом всего горизонта, да лучами прожекторов. И в этот самый момент раздался взрыв необыкновенной силы. «И все-таки я верю, верю в счастливую звезду нашего мальчика!» — писал он мне вечером того же дня, добравшись уже совсем поздно ночью до нашего дома.

20 сентября ему удалось просто чудом достать машину в Академии наук и он привез меня с Котиком домой. Когда мы ехали мимо Сената, и я увидела его обгоревшие и почерневшие стены (пожар только-только закончился), я заплакала, а он стал читать ахматовские строки: «...мимо белых зданий Сената, где когда-то мы танцевали и пили вино...»

Как тысячи других ленинградцев, он стоял на крыше, нес ночные дежурства, видел фашистские самолеты, летающие над нашим городом и сбрасывающие бомбы. Особенно мучила его во время ночных дежурств в Пушкинском доме невозможность позвонить после отбоя и узнать, цел ли дом, в котором я с Котиком. Он ходил разбирать рухнувшие от обстрела дома и выкапывать находящихся там людей (дом на углу Кирпичного переулка и улицы Гоголя). И всегда он оставался сам собой, не меняясь от всех этих обстоятельств ни на йоту. Помню, раз как-то были невыносимо сильная бомбежка и обстрел. Я сидела с Котиком на руках в нашей кухне, чтобы быть ближе к входным дверям. Марк Константинович спал на диване после ночного дежурства. Наконец я не выдержала этого напряжения и страха и побежала будить его. Проснувшись, он страшно рассердился на меня: «Муся, ну как тебе было не стыдно будить меня. Я подумал было, что Бог знает что случилось. А то, подумаешь, какой-то обстрел. Много их еще будет, этих обстрелов. Тьфу, только зря разбудила!» Повернулся на другой бок и тотчас же заснул.

Как тысячи других ленинградцев, он голодал, холодал, худел и таял буквально на глазах. Не обращая внимания на обстрелы, под пулями (в буквальном смысле этого слова) он ходил ежедневно в Дом ученых с бидоном и баночками, чтобы принести мне водянистого супу с хряпом и ложечку каши или вермишели.

Своими неумелыми руками он пытался колоть полено на щепочки для буржуйки, а затем разжечь ее. Руки у него пухли от холода, чернели от грязи, от золы, от дров, трескались, покрывались какими-то нарывами...

Студенты приходили к нему экзаменоваться на дом. Помню, он экзаменовал их в полной темноте. Я зажгла елочную свечечку на один только момент, когда он вписывал им отметки в матрикул.

При свете лучины, самодеятельных коптилок и отсветах пламени от буржуйки (когда она топилась) он читал Жерар де Нерваля, которым тогда увлекался, вносил последние поправки и дополнения в свою «Историю фольклористики». Мне кажется, что создавал он этот труд всю свою творческую жизнь, по мере того как рос, развивался его талант. Сам он мне говорил, что раньше пятидесяти лет, когда он стал вполне зрелым ученым, он не смог бы его написать, что у него просто раньше не было должного количества знаний. Писать же его на бумаге он стал в 1939—1940 годах. За эти два года он написал 80 печатных листов, т. е. два тома. И это при том, что он не прекращал ни на один день ни своей преподавательской работы в университете, ни своих занятий в Институте литературы. Это был какой-то невероятный, непостижимый творческий подъем. Точно хлынул какой-то ливень, с которым он едва-едва мог справиться...

Наступающий 1942-й год мы решили встречать, как принято обычно встречать Новый год. Мы устроили роскошное пиршество — я запекла в буржуйке по две картофелины (обычно на ужин полагалась одна), а затем мы пили кофе, без молока, конечно, но с куском сахара: последний и единственный кусок сахара я разделила пополам. Потом он читал мне своих любимых поэтов — Пушкина, Тютчева, Блока... Огонь в буржуйке быстро прогорел и угас, но свет ему был не нужен. Он ведь помнил все это наизусть.

В конце марта из Ленинграда на самолете были вывезены две семьи — наша и Томашевских. Не буду говорить обо всем том, что было пережито в эти последние дни нашей блокадной жизни. Особенно три последних дня на посадочной площадке на Ржевке. Мы жили в какой-то заснеженной землянке, спали на нарах; стоя на коленях перед каким-то фантастическим очагом, я варила Котику манную кашку, и он ел ее прямо с золой и пеплом. Затем перелет через линию фронта, самолет наш шел под охраной звена истребителей, и вот мы уже на Центральном аэродроме в Москве. Мы с Ириной Томашевской стоим перед умывальником и не знаем, что делать — плакать или смеяться от восторга. Из крана течет *настоящая* вода и можно *вымыть* руки. Помните уэллсовскую «Машину времени»: буквально такое

же ощущение, когда за три часа вы переноситесь из каменного века в двадцатый[2].

Сразу же с аэродрома мы все проехали на улицу Воровского, в Союз писателей. Вид у нас у всех был как у папанинцев, снятых прямо со льдины. Первый же человек, на которого мы там наткнулись, была Эрна Васильевна Померанцева. Оба они мне так рассказывали об этом первом разговоре.

Марк Константинович: «Гляжу, Эрна стоит и смотрит на меня в полном ужасе. Глаза у нее совершенно округлились от страха и прямо на лоб лезут. А сама говорит: «Марк Константинович, ну как Вы чудесно выглядите. Да Вы совсем и не изменились и не похудели!»

А Померанцева рассказывает так: «Марк Константинович потряс меня своим страшным видом голодного и немытого человека. Но самое замечательное было, что первый же вопрос, который он мне задал, причем самым обычным своим тоном с легким нетерпением в голосе: «Ну, какие у Вас фольклорные новости? Вы собираетесь вместе? Встречаетесь? Какие были интересные доклады на эту тему?» Можно было подумать, что он приехал как обычно, в Москву «Стрелой» в спальном вагоне и проч.» (...)

В. С. БАХТИН

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ МОЕГО УЧИТЕЛЯ
Заметки и воспоминания

Рассказ о Марке Константиновиче Азадовском мне хочется начать с одной давней истории.

Первое действующее лицо ее — известный русский революционер Дмитрий Александрович Клеменц. Член кружка Чайковского, один из основателей легендарной «Земли и воли», поэт, борец за национальное освобождение Сербии, в 1879 году он был арестован, а через два года выслан в Восточную Сибирь. Здесь — это повелось еще с Радищева и декабристов — Д. А. Клеменц серьезно занялся изучением края, его истории, этнографии, археологии. Статьи, в которых недавний ссыльный рассказал о своих научных экспедициях, о находках уникальных памятников древних культур, получили всеобщее признание в ученом мире. К началу нынешнего века Д. А. Клеменц становится крупным археологом и этнографом. Он создал этнографический отдел в Русском музее и был первым его заведующим.

Алексей Алексеевич Макаренко принадлежит к поколению народников восьмидесятых годов. Его революционная деятельность на юге России также закончилась восточносибирской ссылкой. Оказавшись вдали от родных мест, Макаренко принялся за историко-этнографические и историко-социологические исследования. Он изучает народную медицину, народные промыслы, записывает сибирские песни и сказки. Между прочим, некоторые его этнографические материалы были использованы Глебом Успенским. И А. А. Макаренко, подобно Д. А. Клеменцу, стал видным ученым, патриотом Сибири. Отторгнутые от революционной работы, эти замечательные люди не отказались от своих идеалов, от служения народу. В 1908 году, в самый разгар реакции, А. А. Макаренко пишет статью «Гибель инородцев Сибири», название которой, далекое от академической бесстрастности, говорит само за себя.

А через год случилось вот что. Дмитрий Александрович Клеменц — ему был уже седьмой десяток — почувствовал, что силы его слабеют и что его жизненный путь подходит к концу. Кто лучше других продолжит дело всей его жизни — изучение ставшей ему родной Сибири? Конечно же Алексей Алексеевич Макаренко, друг, единомышленник, ученый того же склада и направления.

Не знаю, в каких именно выражениях говорил об этом Клеменц своему младшему товарищу, но смысл его речи сводился к тому, что он, Клеменц, считает Алексея Алексеевича Макаренко своим преемником в изучении Сибири, в знак чего дарит ему вот эту дорогую для него вещь — китайские шахматы из слоновой кости. И еще он сказал: когда придет его, Алексея Алексеевича, час, путь и он вручит эти шахматы достойному продолжателю их дела — человеку, любящему Сибирь, ученому, внесшему свой вклад в ее освоение и исследование.

...Тридцать два года владел шахматами Алексей Алексеевич Макаренко — вплоть до начала Отечественной войны. Ему перевалило уже за девятый десяток. Пришла пора вспомнить о подарке и о пожелании Дмитрия Александровича Клеменца. У старика тоже не было сомнений.

И вот я раскрываю изящную деревянную коробку, осторожно вынимаю миниатюрные, хрупкие фигурки. На дне коробки нахожу небольшую бумажку, читаю написанные на ней слова:

«Шахматы Д. А. Клеменца, подаренные А. А. Макаренко, 1909 г.

Подарены профессору М. К. Азадовскому 24 августа 1941 года. А. Макаренко.

На добрую память о Клеменце и Макаренко».

Чтобы завершить эту историю, приведу новую запись, хранящуюся вместе с теми, давними:

«Подарены профессору К. В. Чистову, ученику и продолжателю дела М. К. Азадовского. 24 ноября 1984 г. К. Азадовский».

Кирилл Васильевич Чистов — член-корреспондент АН СССР, редактор журнала «Советская этнография» и заведующий сектором славяноведения Института этнографии АН СССР — один из старейших среди ныне здравствующих учеников Марка Константиновича. Подарок — на 65-летие — вручил ему сын ученого, литературовед Константин Маркович Азадовский.

Четвертый владелец шахмат — известный теоретик и собиратель фольклора, литературовед, этнограф, историограф науки, славист. Подобно учителю, он занимается очень широким кругом проблем, охватывающих не только отдельные регионы, скажем, Сибирь или Карелию, не только страну в целом, но и все славянство. Подобно учителю, Кирилл Васильевич является инициатором многих научных изданий, он организатор научных сил, вице-президент Международного общества исследователей фольклора.

I

Марк Константинович Азадовский родился в 1888 году, когда Д. А. Клеменц и А. А. Макаренко уже стали считать себя настоящими сибиряками. А он родился и вырос в Сибири, в Иркутске, и все сибирское всегда было для него самым близким и дорогим.

Вспоминаю день, когда я, студент второго курса Ленинградского университета (это было в 1946 году), впервые побывал в квартире Марка Константиновича... Книги, книги, книги. Книги стоят на полках, вдоль обеих стен коридора, подступая к самой кухне; высокие, до потолка, полки обегают все стены кабинета, книги грудятся на большом рабочем столе, на специальном столике для новинок. Тут же ящики с библиографическими карточками и первое, что бросается в глаза,— надпись на одном из них, сделанная по старинной традиции по латыни: «Sibirica».

Я удивился тогда: почему, думаю, у профессора, которого я знаю только как крупнейшего специалиста по народному творчеству и литературе, эта самая «Sibirica» зани-

мает так много места, больше, пожалуй, чем разделы «Декабристы», «Пушкин», «Языков», «Искусство»?

Позднее, когда я стал бывать в этом доме, я узнал и понял, что на столе новинок появляются все мало-мальски значительные работы, относящиеся к Сибири. Я видел новые книги, которые присылали в эту тихую ленинградскую квартиру писатели и ученые Новосибирска, Улан-Удэ, Красноярска, Иркутска и других сибирских мест.

А еще позднее, когда хозяин квартиры тяжело заболел и у него появился досуг для воспоминаний, он удивительно живо и интересно рассказывал о знакомстве и переписке с такими людьми, как Владимир Клавдиевич Арсеньев — автор знаменитой книги «Дерсу Узала», как Владислав Станиславович Иллич-Свитыч, карийский каторжанин, бывший одно время иркутским журналистом, как сын поэта — Николай Федорович Тютчев.

Незадолго до смерти Марка Константиновича вышел в свет библиографический указатель по Уралу М. Г. Китайника. В рецензии на эту книгу, посвященную даже не Сибири, а ее, так сказать, соседу, в последний раз блестяще выявилась поразительная эрудиция ученого, показавшего, что даже в таком специальном вопросе он ориентирован лучше и знает больше, чем автор книги.

Сибирь, сибирская тема так или иначе присутствовала в работах Марка Константиновича, написанных им на протяжении всей его жизни.

Член Иркутской губернской комиссии по выявлению и изданию материалов к столетию восстания декабристов, в середине 20-х годов, особенно в юбилейном 1925 году, М. К. Азадовский сделал достоянием науки массу разнообразных документов, относящихся к декабристам,—их письма, дневники, воспоминания, официальные документы.

Он — активный деятель Института исследования Сибири, Восточно-Сибирского отдела Географического общества. Его живая натура изыскивает все новые и новые возможности для расширения научной работы, для сплочения научных сил в культурных центрах и на местах. Вместе с Г. С. Виноградовым он добивается издания «Сибирской живой старины» — первого послереволюционного этнографического журнала в СССР, принимает активное участие в создании «Сибирской советской энциклопедии». Необходимо отметить, что Марк Константинович способствовал также исследованиям быта, экономики, культуры и фольклора народов Сибири. При его участии вышли в свет

«Бурятоведческий сборник», сборник «Якутия» и многие другие.

Он и сам писал постоянно — о декабристах в Сибири, о сибирском фольклоре, о сибирских фольклористах; он составлял описания книг по народному хозяйству, этнографии, литературе Сибири; он фундаментально исследовал обширнейшую тему «Сибирь в художественной литературе»; он занимался изучением сибирских говоров; из архивов Сибири он извлек ряд интереснейших документов и материалов, относящихся к истории общенациональной русской культуры, например, утраченный альбом художника Федотова. Едва приехав в Иркутск, он отыскал престарелую ученицу знаменитой Полины Виардо и не только записал ее рассказ, но и заставил ее написать свои воспоминания (к сожалению, все это до сих пор не опубликовано).

Он всю жизнь горячо любил, помнил родные места. Большой работе «Очерки литературы и культуры в Сибири», написанной уже в годы Отечественной войны, он предпослал заметку, где говорит, что «эти очерки — слабая попытка уплаты своего долга воспитавшему его родному краю».

В Сибири началась сознательная жизнь будущего ученого, и началась она очень рано. Еще до гимназии мальчик занимался дома. Учителем его был ссыльный поэт — киевлянин В. В. Теплов.

Первые годы двадцатого века...

Жив Чехов. Горьковские Данко, Буревестник и Сокол — литературные новинки, они еще только входят в сердца читателей. Страстная ненависть, презрение к тому, что есть, и не менее страстные поиски правды. И в столице, и в сибирской провинции молодежь тянется к каждому свежему слову. Все кипит и бурлит.

Даже в гимназии подростки, мальчики, совершают неслыханные вещи. Восьмиклассник Бингер дал публичную пощечину инспектору Залесову. Дело постарались замять (с юношей после этого произошел нервный припадок, и все объяснили этим). Залесова все-таки убрали. На его место пришел более дипломатичный Александрович. Но через несколько месяцев, после какой-то очередной придирки ученик 7 класса Эдуард Понтович (будущий доцент Московского университета) влепил такую же звонкую пощечину и новому инспектору. Было это весной 1903 года.

Семиклассников сразу же распустили по домам. Тогда собрались шестиклассники и пятиклассники (среди которых был и Марк Азадовский, прозванный за свой темперамент Нервиком). Они объявили, что тоже покидают гимназию.

Пришел директор. Ему тут же послали записку: «Просим уравнять нас в правах с семиклассниками». Так началась в иркутской гимназии настоящая забастовка, первое коллективное выступление учащихся.

Округ и попечители совсем растерялись. Неизвестно, чем бы окончилось все дело, если бы не вмешались родители и общественность — редактор газеты «Восточное обозрение» Попов, врач Ельяшевич, юрист Лесновский и другие. «Забастовщики» дважды встречались с представителями родителей (вот ситуация!). Родители уговаривали сыновей вернуться в гимназию, а сами, в свою очередь, вели переговоры с администрацией. Напуганный директор с готовностью дал обещание не наказывать учащихся. Но гимназистов обманули. Едва они явились на занятия, всем была объявлена двойка по поведению и всех записали в кондуит.

События общерусского значения — Обуховская оборона, студенческая демонстрация у Казанского собора — и такие вот местные события воспитывали мальчиков. Каждый день приносил новую пищу для размышлений.

В Иркутск приехал слепой лектор Кулябко-Корецкий. В городе висят афиши о том, что гость прочтет цикл публичных лекций. «История XIX века в важнейших европейских странах». Кулябко-Корецкий не был марксистом, ближе всего он стоял к народникам. Первая фраза, которую он произнес, поднявшись на кафедру в небольшом зале музея, была такая: «История девятнадцатого века начинается с Великой французской революции восемнадцатого века».

С жадным вниманием слушали гимназисты смелую, яркую и темпераментную речь. Так непохоже было все это на сухую казенную жвачку! Уже на второй или третий раз лекцию пришлось переносить в здание Общественного собрания, где был самый большой зал. Шестьсот-семьсот слушателей на лекции по истории Европы — неслыханное дело!

Окончена очередная лекция. Все восторженно благодарят оратора. Четырнадцатилетние гимназисты Марк Адазовский, Шурик Ельяшевич с другими одноклассниками протискиваются вперед, к самой сцене. А тут уже какой-то студент, по традиции, зачитывает адрес: «... вы показали нам, как народы Запада свергли своих мучителей...»

— У нас этого не будет! — громко перебивает студента сидящий тут же полицмейстер.

— Долой его! — кричит молодежь.

И разгорелись страсти.

— Долой тиранию!

— Долой самодержавие!

Так увидели иркутские гимназисты первую политическую демонстрацию.

После лекций Кулябко-Корецкого еще сильнее забродили мальчишеские умы. Был у них вполне легальный кружок самообразования. Члены кружка зачитывали доклады и рефераты на исторические, литературные темы, которых не проходили в гимназии («Тип скупого в литературе» — такой доклад сделал Марк Азадовский). А тут резко изменились интересы подростков. Все больше и больше волновали их вопросы общественные. Решили они издавать журнал «Братство».

Здесь нет возможности подробно говорить об этом ученическом кружке и об этом журнале. Но все-таки нельзя умолчать о том, что в «Братстве» сотрудничал будущий известный писатель И. Гольдберг, тогда простой рабочий парень, что выпуску журнала помогали политические ссыльные, жившие тогда в Иркутске. Среди них попадались разные люди — и бывшие народовольцы, и будущие эсеры, меньшевики и большевики, вроде Глеба Ивановича Бокия, который даже написал одну заметку в этот журнал. Кончилось дело, как нередко кончались до революции подобные вещи. Четыре номера журнала вышли благополучно, пятый выйти не успел. Гольдберг имел более глубокие связи в подполье. В конце 1903 года он был арестован, у него нашли пятый номер «Братства» с его статьей и открытку, из которой жандармы могли выяснить имена некоторых гимназистов — сотрудников журнала.

Троих исключили из гимназии. А отец Марка Азадовского на время увез сына в Хабаровск.

Сын чиновника двенадцатого класса, Марк был самым младшим по возрасту в кругу своих товарищей. Рослые, уже усатые семиклассники на занятиях кружка готовы были посадить к себе на колени живого, веселого и маленького пятиклассника. Однако все уважали его за хороший вкус, за обширные знания. Он так и считался в гимназии вундеркиндом.

Но в годы первой русской революции этот юноша, углубленный в изучение языков и литературы, показал себя смелым, решительным человеком.

Нынешней молодежи вряд ли известно, что раньше лица, поступавшие в высшие учебные заведения, должны были представлять свидетельства о благонадежности.

В 1907 году, когда Марк Азадовский подал заявление о

зачислении его в Петербургский университет, он приложил к нему такое свидетельство: «Дано настоящее сыну отставного губернского секретаря Константина Иннокентьевича Азадовского — Марку Азадовскому... что за время проживания его в г. Хабаровске под судом и следствием не состоял и в политическом отношении благонадежен, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется».

Но именно в это время Марк Азадовский действовал особенно активно. Несколько лет спустя, когда ему понадобилось такое же свидетельство для оставления его, как бы мы теперь сказали, в аспирантуре, канцелярия Приамурского генерал-губернатора в совершенно секретном донесении сообщала университетскому начальству, что в 1907—1908 годах Азадовский развернул в Хабаровске широкую революционную работу и даже создал в городе военную организацию. Ссылаясь на агентурные сведения, автор донесения писал далее, что под его, Азадовского, редакцией будто бы были выпущены три прокламации к войскам; ему же приписывалось участие в устройстве побегов политических заключенных.

Сейчас трудно установить, вел ли молодой студент какую-нибудь революционную работу в стенах самого университета. Но тот факт, что он был так активен в свое каникулярное время, заставляет сделать вывод о его участии в студенческом движении.

Листаю одно из секретных университетских дел о студенческих волнениях. Рапорт о беспорядках... Сообщение о вызове полиции в учебные аудитории. Докладная записка о прокламациях... А вот и сами прокламации:

«Товарищи! Сегодня исполнилась годовщина смерти Льва Толстого. Всю долгую жизнь страшными ударами огненного слова своего бичевал он все уродства, все несправедливости, всё зло и страдание современного общества...»

Прокламация по поводу юбилея Шевченко...

Призыв бороться с решением университета принять в качестве студента полицейского агента...

Их десятки тут, маленьких листочков, исписанных крупными печатными буквами. Писал ли Марк Азадовский такие листки или только читал их — в конце концов не так важно. Важно, что и он варился в этом котле, негодовал, размышлял и боролся.

Я уже говорил, что Марк Азадовский еще в гимназии выделялся своими необычайно широкими познаниями. В ряду лучших оказался он и в Петербургском университете. Он успевал все — и слушать лекции, и посещать профессор-

ские семинары; вместе с группой студентов-сибиряков он занимался, как говорили тогда, приватно этнографией у профессора Л. Я. Штернберга; он рылся в архивах и книгохранилищах. Он принимал участие в работе Общества изучения Сибири Академии наук, Русского Географического общества и выезжал в фольклорные экспедиции. Но независимо ни от чего, рассказывал Марк Константинович, на протяжении многих лет первый час после пробуждения (а вставал он всегда рано) он посвящал изучению иностранных языков — день немецкому, день английскому, день французскому; овладел он и некоторыми славянскими языками.

В начале своей научной деятельности М. К. Азадовскому посчастливилось учиться у крупных русских ученых — историков С. Ф. Платонова и Н. И. Кареева, у языковедов Н. М. Каринского, Н. Н. Булича, И. А. Бодуэна-де-Куртене, у слависта Н. С. Державина, но особенно важную роль в становлении его как ученого, в формировании научных интересов сыграли А. А. Шахматов, С. А. Венгеров, А. И. Шляпкин (под руководством которого было написано зачетное сочинение) и С. Ф. Ольденбург.

В своем «Кратком жизнеописании» Марк Константинович рассказывает: «Собирательскую и исследовательскую работу начал еще студентом; принимал участие в экспедиции Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, а в 1913 г. совершил ряд самостоятельных поездок по собиранию материалов и народной словесности русского населения в бассейне р. Амура. К сожалению, собранные во время этих экспедиций богатейшие материалы по разнообразным жанрам фольклора погибли, и только немногие материалы уцелели и были приготовлены к печати. Более удачной была в этом отношении экспедиция 1915 года на р. Лену, на основе которой написаны две главнейшие работы первого периода моей научной деятельности: «Ленские причитания» (1922) и «Сказки Верхнеленского края» (1925)».

Насколько многообразной и плодотворной была работа молодого ученого, показывает его отчет о научных занятиях за 1915/16 учебный год, сохранившийся в университетском личном деле. Позволю себе привести почти целиком этот никогда не печатавшийся документ:

«...1) Приведение в порядок и разработка собранных в прошлом году материалов по диалектологии и народной словесности амурских казаков.

2) Летом 1915 года я занимался, по поручению сказочной комиссии этнографического отдела Императорского Русского географического общества, собиранием этногра-

фического материала среди русского населения Верхнеленского уезда. Среди записанного мной фольклорного материала преобладают сказки, свадебные песни и причитания. Целью поездки была, главным образом, запись сказок, до сих пор еще мало собранных в Сибири. Сборников сибирских причитаний пока также не имеется. Всего записано мной за эту поездку около 100 сказок, 80 причитаний и 300 свадебных песен. Собранный материал предполагалось опубликовать в текущем году. Было почти закончено «Описание старинного свадебного обряда на р. Лене» и «Ленские причитания», но болезнь помешала довести работу до конца.

В числе посещенных мною деревень и сел Верхоленского уезда было и селение Анга, родина знаменитого историка Афанасия Прокофьевича Щапова. Удалось записать довольно много сведений о пребывании его на родине, установить точную дату его рождения по метрической записи в церкви и найти некоторые новые письменные материалы.

Более подробные сведения о результатах этой командировки приведены в Отчете Отделения Русского Языка и Словесности Императорской Академии Наук за 1915 год.

3) Продолжал свои работы по собиранию материалов для библиографии Сибири.

4) Принимал участие в составлении библиографического указателя по народной словесности, издаваемого комиссией по народной словесности московского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

5) Составлял совместно с С. И. Руденко по поручению 2-го Отдела Комиссии ИРГО по составлению этнографических карт России «Предметный этнографический указатель к сочинениям старых путешественников по Сибири» (Крашенинников, Фальк, Гмелин, Лепехин, Сарычев, Булычев, Паллас, Биллингс, Новицкий, Спафарий и др.).

6) Состоял членом бюро по редактированию «Приложения» к «Живой старине» (выпущено с мая 1915 г. № 1—4, 5 и 6 находятся в печати).

7) Продолжал занятния по изучению творчества и биографии художника-литератора П. А. Федотова. О найденных мною новых материалах в этой области читал доклад в Русском Библиологическом обществе (19 ноября 1915 г.), собирал библиографические материалы о нем и наметил ряд статей об его деятельности.

За отчетный учебный год напечатано в разных изданиях:

1. Отчет о научных занятиях. «Отчет 2 отд. Имп. Акад. Наук» за 1915 год.

2. Заговоры амурских казаков. «Живая старина», 1915 г.

3. Песнь о переселении на Амур. «Сибирский архив», 1916, № 3—4.

4. К биографии А. П. Щапова. Неизданное письмо митрополита Иннокентия. «Русская старина», 1916, № 6.

5. Дневник художника. Неизвестный альбом Федотова. «Русский библиофил», 1916, № 4 и отдельно — Петроград, 1916.

6. Материалы для библиографии П. А. Федотова. Там же.

7. Мелкие статьи, заметки и рецензии в «Русской старине», «Живой старине», «Сибирском архиве» и др. изданиях».

И все это сделано за год! Причем именно в этом году Марк Константинович серьезно заболел и вынужден был надолго прекратить всякие ученые занятия. А ведь кроме того в это время — после окончания университета в 1913 году и вплоть до отъезда из Петрограда — из-за тяжелых материальных условий он вынужден был преподавать русский язык и литературу сначала в гимназии, а затем в коммерческом училище.

Нам, студентам и аспирантам, профессор Азадовский всегда говорил:

— Что значит «не могу», «некогда»?! Вы просто не умеете организовать свое время.

II

Самостоятельную научно-педагогическую работу М. К. Азадовский начал в 1918 году в Томском университете. Через три года он, уже в качестве профессора, был приглашен в Читу для организации Института народного образования, а с 1923 по 1930 год руководил кафедрой литературы в Иркутском университете. В 1930 году он переехал в Ленинград.

Прежде чем перейти к характеристике научной деятельности Азадовского в эти и последующие годы, мне хочется рассказать о нем как о человеке, преподавателе и наставнике молодежи, о его замечательном умении сплачивать и выращивать научные силы вокруг общих широких и актуальных научных проблем.

В свое время академик А. А. Шахматов устраивал у себя дома утренние воскресные собрания. На них за чашкой чая встречались крупнейшие ученые и студенты, историки и лингвисты, искусствоведы и литераторы. Свободный обмен мнениями приносили огромную пользу всем участникам

таких собеседований, помогал формироваться молодым ученым.

Подобные же встречи устраивал и Марк Константинович. На его четверги тоже приходили молодежь, товарищи по университету, просто интересные люди, увлеченные какой-либо идеей. Здесь можно было просидеть весь вечер — и не сказать ни слова, только слушать; здесь можно было взять у хозяина (без всяких ограничений!) любую книгу, получить любую библиографическую справку.

Беседуя со своими учениками, он, по удачному выражению Нины Илиодоровны Удимовой, знавшей его с двадцатых годов, расшвыривал советы, темы, идеи.

Он умел расшевелить всех вокруг себя — и жил этим сам. Он был членом библиотечного совета, проводил в библиотеке много времени. Студенты постоянно видели его там; он завел обычай — дежурства в кабинетах, у каталогов. Иркутская библиотека, отлично наладившая свою работу благодаря его помощи, была гордостью Марка Константиновича. Он любил повторять:

— В чем разница между публичной библиотекой в Ленинграде и нашей библиотекой? Там получают книгу через три дня, а обрабатывают полгода; у нас получают книгу через полгода, а обрабатывают за три дня.

Марк Константинович всегда заботился о пополнении фондов.

Так, попав однажды в Ленинград, он привез оттуда много редких и нужных книг для иркутской библиотеки.

Ученик С. А. Венгерова, он придавал огромное значение библиографии, вообще культуре научной работы, сам не чуждался такого технического труда и приучал к этому других. Все его студенты для получения необходимых навыков три дня в течение каждого семестра должны были отработать в библиотеке.

Марк Константинович добивался, чтобы его ученики в той или иной форме сразу же приобщались к самостоятельным научным занятиям, чтобы все печатались. Для этого он планировал коллективные, комплексные работы — совместное составление библиографических указателей на ту или иную тему, совместное решение той или иной проблемы. В моих бумагах сохранился листок, относящийся к 1946 году. На нем записан план первого послевоенного номера бюллетеня кафедры фольклора (характерно, что в редколлегию, кроме самого Марка Константиновича, вошли два аспиранта и студент-второкурсник). Здесь предусматривались и теоретические работы аспирантов по фоль-

клору, и студенческие статьи о фольклоризме Пушкина и Глеба Успенского, и хроника фольклорной жизни, и коллективная работа по библиографии, и отчеты об экспедициях.

Не могу не вспомнить здесь и о собственных отношениях с Марком Константиновичем, начавшихся в первый послевоенный год и окончившихся с его смертью. Хочу показать, что значили для нас, студентов и аспирантов, его ненавязчивые советы, фраза, брошенная вскользь, просто присутствие его за преподавательским столом.

Азадовский читал обычный университетский курс фольклора для филологов-русистов первого года обучения; семинарские занятия к этому курсу вела Н. П. Колпакова. И были еще спецкурсы и спецсеминары по народному творчеству, которые вели заведующий кафедрой М. К. Азадовский и (в меньшей степени) профессор кафедры В. Я. Пропп.

Зеленый первокурсник, если не по годам, то по исследовательким навыкам, я пришел в спецсеминар Марка Константиновича лишь с неясной тягой к народному слову, не более того. Как-то, вынеся на обсуждение план семинарских докладов, он обратился ко мне:

— А не хотите ли вы заняться бывальщиной?

Сколько помню, наворотил я в этом первом своем докладе предостаточно глупостей — и в весьма категоричной форме. Кроме меня, разумеется, никто не понимает, что такое бывальщина. Однако, Марк Константинович усмотрел там, по-видимому, и намеки на нечто рациональное: стремление разобраться в специфике жанра, отделить от него то, что не является результатом коллективного сознания и коллективного художественного творчества.

Подлив масла в огонь, в качестве следующей темы Азадовский предложил мне сказ. Удивительно тонко и точно задуманное предложение! Те же вопросы жанра фольклорной подлинности и неподлинности, но на более сложном и современном материале.

В те годы громко звучали голоса сказителей — создателей новых сказок, былин, сказов, песен. Их произведения, зачастую фальшивые не только по форме, но и по содержанию, чуждому реальной жизни народа, исполнялись по радио, широко печатались.

Бывальщины еще туда-сюда, в них все-таки нет сознательного стремления пойти навстречу любому желанию заказчика. А что касается сказов, то они впрямую дискредитировали и фольклор, и науку, отвращая читателя, слуша-

теля от подлинных народных ценностей. Именно с этого доклада и живет во мне яростная неприязнь к фальсификаторам народного творчества, кем бы они ни были, и в особенности к ученым, которые вводили эти тексты в свои книги, в учебники и хрестоматии. За сорок лет, что прошли с тех пор, мне доводилось писать и о липовых частушках, и о бессмыслицах, выдаваемых за русские народные пословицы и поговорки, о спекулятивных песнях, сочиненных в самодеятельных и профессиональных хорах, о недобросовестных публикаторах фольклорных сборников.

Вспоминаю первую свою большую статью на эту тему («О некоторых проблемах фольклористики»). Получив корректуру и узнав из сноски, что журнал «Советская этнография» открывает моей статьей дискуссию, я, весьма смущенный, побежал к Марку Константиновичу. Он внимательно прочитал статью и спокойно сказал:

— Ну что ж, все нормально. Я бы вот только в этом месте, где вы критикуете современные сказы, добавил бы еще фразу, усиливающую мысль: «Итак, выступление делегата съезда — фольклор?!»

Схватив карандаш, я вписал фразу — как раз место в строке было. Так она и стоит в той статье 1953 года, вышедшей через шесть лет после доклада о сказе.

А на третьем курсе по совету Марка Константиновича я начал работать совсем над другой темой, которая поначалу не очень и привлекла меня: «Прокофьев и фольклор». Я стремился продолжать уже начатое, а Азадовскому хотелось, чтобы я был более разносторонним специалистом, чтобы прикоснулся к важнейшей проблеме взаимоотношений литературы и фольклора, к широко понимаемой им проблеме народности литературы.

Сегодня могу сказать, что являюсь автором нескольких десятков статей и публикаций, посвященных творчеству Александра Прокофьева, автором двух книг о нем. Эти занятия привели меня к знакомству, а затем и к дружбе с поэтом.

И что удивительно: Азадовский никогда не наставлял, не натаскивал, не подсказывал решений. Я не был у него ни на одной консультации. Принес мне как-то на семинар несколько карточек и всё. И вся вроде бы учеба. Учили его личность, разговоры с ним.

После второго курса, летом, я приехал к нему на дачу. Провожая меня до станции, он сказал между прочим:

— Вы работайте. Я думаю взять вас в аспирантуру, когда кончите.

Этому не дано было сбыться. Когда я занимался на третьем курсе, он уже не работал в университете.

Храню титульный лист невышедшей книги «Сказки Богатырева». Сказки эти мы записали в 1946—1948 годах вместе с Д. М. Молдавским, тогда аспирантом Марка Константиновича, в ходе фольклорных поездок в Псковскую область. Слева вверх идет надпись: «В производство. Ред. проф. М. Азадовский. 15 янв. 1949 г.» Есть и еще один машинописный лист — копия посланного в издательство официального отзыва на рукопись: «Настоящий сборник... является первым сборником сказок Псковской области. Подготовленный в свое время сборник сказок, составленный Н. Г. Козыревым, так и не увидел света, и неизвестно, где он находится».

— Вот займитесь-ка Козыревым! — сказал тогда Азадовский.

Я этот сборник нашел через год, снял с него копию, приготовил к печати. Однако только теперь, сорок один год спустя, мне удалось опубликовать часть козыревских записей...

Сейчас рядом с этой статьей, которую я перечитываю, лежат наброски другой статьи: «Псковские сказки Н. Г. Козырева (к теме «Пушкин и фольклор»)».

Как тут не вспомнить Учителя!

Ему было интересно жить, так же интересно и весело (именно весело!) было тем., кто общался с ним. Отправившись в Псковскую область во второй или третий раз все к тому же Богатыреву, мы с Молдавским по старому фольклорному способу, устно, в пути сочинили на мотив песни «На границе тучи ходят хмуро» свой гимн фольклористов (подобный гимн, как рассказывали старшие аспиранты, был в ходу и до войны). И всю дорогу, на машине и в телеге, в пешем строю и в купе вагона, весело распевали его. А чего ж не петь и не радоваться: аспирант и студент третьего курса вот-вот станут авторами отличной толстой книги, которая уже одобрена руководителем и издательством! И договор в кармане!..

Нас послал профессор Азадовский
Изучать возлюбленный народ,
Собирать фольклор деревни псковской,
Сказки, песни и наоборот.

Мы прошли, проплыли, пролетели,
Исписав бумаги пять пудов.
И уже в конце второй недели
Третий том фольклора был готов.

И сказал редактор и издатель,
Утирая слезы рукавом:
— Издадим, товарищ собиратель,
Ну, а денежки, а денежки потом!

Многообещающие слова издателя цитируются в песне точно, однако, как уже говорилось, книга так и не вышла: началась недоброй памяти «космополитская» кампания...

Всех нас, своих учеников, профессор Азадовский заставлял бывать в архивах, выезжать в экспедиции для сбора фольклорных материалов. А главное, чему он учил всегда — быть разносторонним специалистом, не замыкаться в рамках какой-то одной темы. Он и сам поражал своим кругозором. Не было, казалось, такой книги, которой он не знал бы, не было такого раздела гуманитарной науки, в котором он не ориентировался бы свободно. История и этнография, диалектология и искусствоведение, а в пределах литературоведения — Радищев и автор «Конька-Горбунка» Ершов, декабристы и Языков, Пушкин и революционные демократы, Короленко и Тургенев, Лермонтов и забытые сибирские поэты Бальдауф, Милькеев и Александров — всё это было предметом его специальных изысканий. В разные годы он читал в университете все литературные курсы, начиная от истории античной и западноевропейских литератур и кончая курсами поэтики и методологии литературы.

Он был прирожденным филологом, умевшим и любившим работать. Вспоминаю его постоянное выражение: «Вкусно!». С таким удовольствием, прямо с наслаждением говорил он, выслушав чей-нибудь удачный доклад, а сам так и светился улыбкой:

— Вкусный материал!

— Из этого можно сделать вкусную статью!

С переездом Азадовского в Ленинград необыкновенно оживилась научная работа в Секторе народного творчества Института этнографии АН СССР, впоследствии переведенном в Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), в Ленинградском университете. Многочисленные экспедиции пополнили и без того богатые ленинградские фольклорные архивы. Начали выходить сборники «Советский фольклор» (с 1934 по 1941 год их вышло семь), далеко продвинувшие изучение современного народного искусства. К Азадовскому пришли новые ученики.

Так много сделано в эти годы! Издана двухтомная антология сказки, подготовлены к печати и прокомментиро-

ваны три тома сказок А. Н. Афанасьева, том статей академика А. Н. Веселовского, сочинения Языкова и Пушкина, увидела свет принципиально важная книга «Литература и фольклор»... А сколько еще начато и не закончено! И вот война.

Наиболее тяжелое время блокады провел Марк Константинович в Ленинграде. Голодный, истощенный, профессор продолжал ходить в университет, принимал экзамены и зачеты у тех, кто собирался на фронт или приезжал оттуда, дописывал главный труд всей своей жизни — «Историю русской фольклористики».

Наученный горьким опытом гражданской войны, когда погиб почти весь его архив (вернее, та часть, которая хранилась в сейфе одного банка), Азадовский не решается оставить самую важную свою работу и постоянно носит тяжелую рукопись в рюкзаке за спиной.

Как-то мы разговорились с Д. Молдавским, и он рассказал, что они с В. Баскаковым встретили Марка Константиновича на льду посреди Невы. Тот брел по узенькой скользкой тропке, вившейся от самого филфака, а за плечами его болтался рюкзак с тяжеленной рукописью. О ней знали все.

Другой его ученик вспоминает в письме: «В последний раз мы с Вами виделись жуткой зимой в столовой. Вид у Вас был очень ужасный».

Кстати сказать, принуждая ленинградцев к сдаче, фашисты сбрасывали листовки, где лицемерно говорили о жертвах блокады, в числе погибших называли они и Марка Константиновича.

По специальному решению правительства в марте 1942 года М. Азадовсого вместе с несколькими другими крупнейшими ленинградскими учеными переправили через фронт на самолете. Всё бросил он в своей квартире— только рукопись «Истории русской фольклористики» да «Указатель сказочных сюжетов» погибшего в блокадном городе Н. П. Андреева взял с собой.

Прошло немного времени — Марк Константинович, еще не оправившийся после голода, снова в работе. Поселившись в Иркутске, он занимается со студентами университета и педагогического института, читает публичные лекции и научные доклады; особенно большой общественный резонанс имели его доклады: «Задачи историко-филологических изучений в дни Великой Отечественной войны», «Значение фольклора в деле патриотического воспитания учащихся», «Народное творчество — орудие воспитания масс», «Итоги

советской фольклористики за 25 лет». По предложению ученого при Иркутском университете было создано Общество истории, литературы, языка и этнографии (он же стал его первым председателем).

В марте 1943 года по инициативе Азадовского силами названного общества в Иркутске была проведена важная конференция фольклористов и сказителей Сибири, имевшая по существу всесоюзный характер.

Член Союза советских писателей с момента его основания, он принимает активное участие в работе местного отделения Союза, входит в состав редколлегии альманаха «Новая Сибирь», позднее возобновляет давнюю дружбу с «Сибирскими огнями» (где он печатается с 1925 года), сотрудничает в альманахе «Забайкалье» и других сибирских изданиях. Он выезжает в Москву, в Улан-Удэ, много занимается иркутским театром — везде его ждут как желанного гостя, друга, опытного советчика.

Если мы возьмем библиографию русского фольклора за последние тридцать-сорок лет, то увидим, что едва ли не половина всех изданий выполнена учениками Марка Константиновича (кстати и саму эту библиографию отлично ведет его ученица М. Я. Мельц). Его сибирские ученики — В. Д. Кудрявцев, А. В. Гуревич, Г. Ф. Кунгуров, А. А. Богданова, И. Г. Парилов, Л. А. Лебедева, А. П. Селявская, О. Сазонова, В. Трушкин, В. Ковалев. В Ленинграде у него учились: А. М. Кукулевич, И. И. Кравченко, О. Володина, М. М. Михайлов, погибшие в годы войны, А. Д. Соймонов, Г. Н. Парилова, Н. В. Новиков, И. М. Колесницкая, братья В. В. и К. В. Чистовы, М. А. Шнеерсон, Д. М. Молдавский, Е. В. Баранникова, И. П. Лупанова, Н. К. Митропольская, Л. В. Домановский. Под влиянием М. К. Азадовского формировались и такие ученые, как Э. В. Померанцева, А. Л. Дымшиц, В. Ю. Крупянская, С. И. Минц, Л. Н. Пушкарев, Е. Д. Петряев. Его питомцы сейчас активно работают во Львове и Иркутске, в Ташкенте и Улан-Удэ, в Москве и Ленинграде, в Уфе, Новосибирске, Вильнюсе, Петрозаводске.

Мы уже знаем, что Марк Константинович был не только фольклористом. И потому среди его учеников мы видим и сибиреведа Б. И. Жеребцова, и сибирских поэтов Василия Непомнящих, Елену Жилкину и Марка Сергеева, и славистку Д. Б. Кацнельсон, и переводчицу В. С. Давиденкову, и специалиста по литературам народов СССР О. Н. Гречину, и искусствоведа Н. И. Удимову, и работника кино И. Г. Ростовцева.

Каждому из нас отдавал Марк Константинович частицу своего сердца и все то из своих знаний и опыта, что мы только были в состоянии взять.

Азадовский за университетской кафедрой... Невысокий, бритый, немолодой уже профессор. Он здоровается с нами, студентами-филологами первого послевоенного набора, поздравляет с началом учебного года, и, внимательно оглядывая аудиторию, приветливо улыбается — как будто каждому в отдельности.

А мы смотрим на него, европейски знаменитого ученого — уже кто-то сказал нам, что его материалы упомянул Ромен Роллан в одном из своих романов, что его похвалил Горький. Но мы разочарованы: ни осанки, ни профессорской суровости во взгляде голубых, немного уже выцветших глаз — наоборот, в них видится нам какая-то веселая усмешка, лукавинка, что-то совсем не связанное с нашим представлением о высокой науке; голос тихий, с хрипотцой, оставшейся после тяжелой болезни горла.

Все буднично, очень уж просто, нам кажется. И слова обычные. В нем нет никакой рисовки, никакого желания бить на внешний эффект.

— Мы, товарищи, будем изучать с вами поэтическое творчество нашего народа... курс рассчитан... включает в себя разделы...

Профессор нагнулся к кафедре и говорит, не отрываясь от своих каких-то бумажек, лишь изредка вскидывает голову на слушателей.

Но вот он оставил бумажки, сошел с кафедры и сказал:

— Кстати...

И тут началось. Я уж не помню сейчас, что именно было сказано вслед за этим первым «кстати», но прекрасно помню вообще ход этих лекций. Феноменальные знания переполняли лектора. Предположим, он начинал речь о фольклоризме Пушкина, и рано или поздно в разговоре возникало имя Полевого.

— Но, кстати, знаете ли вы, что Полевой был первым в XIX веке собирателем сибирских былин? Полевой вырос в Сибири, он ученик известного краеведа Словцова... И дальше речь шла о Словцове, об Авдеевой, сестре Полевого, тоже собиравшей сибирский фольклор, и так далее, и так далее.

А в другой раз это «кстати» могло увести вас к декабристам или к Языкову, к Грибоедову или даже к Маршаку, с которым он был знаком много лет.

Для студентов-первокурсников, только вернувшихся с войны, его лекции были сложны, хотя, увлекшись, он гово-

рил и занимательно — иначе не любили бы мы его предмет. Но мне понятно теперь, почему на его лекции постоянно приходили аспиранты. Ведь в эти годы Марк Константинович снова и снова возвращался к законченной вчерне «Истории русской фольклористики». Он был полон фактов — забытых, малоизвестных или вообще никому не известных и щедро делился ими со всеми.

Была в его лекциях и другая сторона, которая тоже не сразу открылась нам — это стройная и целостная концепция, впервые охватившая весь предмет науки, рассматривавшая его с последовательно материалистических позиций, с позиций историзма.

Я не знаю, как мне донести до читателя ту удивительную атмосферу товарищества и подлинной любви к науке, которая царила на нашем послевоенном фольклорном семинаре в Ленинградском университете. Здесь были и зеленые первокурсники, и аспиранты, поседевшие в годы финской и Отечественной войн. Но все были равны в этом маленьком и уютном кабинете на втором этаже. Профессор, входя сюда, не шел, как обычно бывает, к своему столу, а подходил к каждому из нас, здоровался за руку, кому-то задавал два-три вопроса, для кого-то доставал заранее приготовленные библиографические карточки, с кем-то шутил. Мы, студенты, если хотели, могли курить, могли затеять спор и вовлечь в него всех. Марк Константинович старался вести дело так, чтобы мы чувствовали себя не школярами, которым полагается что-то учить, сдавать какие-то экзамены, а работниками науки, призванными решить еще нерешенные проблемы.

III

Наука в его изложении была очень нужным и очень интересным делом. «Он обожал науку»,— сказала, к слову, одна из его учениц; именно поэтому он ненавидел догматизм и говорил о вечно изменяющихся истинах, о вечном движении науки в процессе познания ее тайн.

В послереволюционные годы, когда марксистская методология для многих ученых была еще внове, общественные дисциплины охватила повальная болезнь вульгарного социологизма. Те крупные ученые — лингвисты, литературоведы, историки, этнографы,—которые впоследствии по праву стали гордостью всей советской науки, писали ужасные вещи, ужасные по узости своих выводов, по непониманию специфики искусства, по самим принципам исследования.

Замечательного французского писателя Проспера Мериме они именовали идеологическим рупором той части

обезземелившегося дворянства, которая решила пойти на сговор с буржуазным государством и стала верой и правдой служить ему в чиновничьем одеянии. Нашего Алексея Кольцова они клеймили как выразителя идей зажиточной части крестьянства. А былины и сказки, поскольку речь там шла о князьях, казались им порождением аристократической среды.

К чести профессора Азадовского надо сказать, что он в числе очень немногих исследователей остался в стороне от этих неистовых попыток свести все и вся в искусстве к грубым социологическим схемам. Еще в 1932 году вместе с Н. П. Андреевым и А. М. Астаховой он выступил против группы исследователей Н. Я. Марра, решившихся весь фольклор объявить пережитком древнего мифотворчества. Это выступление предохранило фольклористику как науку от модной тогда методологии, заведшей другие гуманитарные дисциплины в дебри бессмыслицы.

В 1933 году А. М. Смирнов-Кутачевский выпустил исследование «Кадрильные песни», где пытался доказать, что в кадрили «под завуалированной эстетической внешностью танца развертывается самая утонченная классовая борьба». М. К. Азадовский на двух страничках своей рецензии буквально разгромил эту работу. Нужно «решительно возражать против тех методов, которыми автор доказывает и развивает свои тезисы,—писал он.—Нельзя так легко играть терминами: диалектика, классовая борьба и т. д. Утверждение, что третья фигура кадрили — «синтез тезиса и антитезиса» двух первых фигур—трудно читать без улыбки».

Прекрасно чувствуя эстетическую прелесть каждого подлинно художественного произведения, М. К. Азадовский, естественно, был далек и от формалистов, обесцветивших национальные краски искусства, видевших в любом произведении лишь его схему, проходящую сквозь века и толщи народов.

Говорить об Азадовском-ученом, пожалуй, труднее всего: слишком уж широк его диапазон, безграничен, кажется, круг проблем, затронутых в трехстах пятидесяти его печатных работах.

Основные его интересы лежали в области фольклора, фольклористики и истории русской литературы XIX века.

Марк Константинович был серьезным теоретиком фольклора и, безусловно, наиболее выдающимся историографом. Но не меньшее значение имела и его многолетняя деятельность практика-собирателя. Даже если бы Азадовский не

опубликовал ничего, кроме своих записей, имя его заняло бы видное место в истории русской фольклористики.

«Ленские причитания» (1922), «Сказки Верхнеленского края» (1925), «Сказки из разных мест Сибири» (1929), собранные его учениками и изданные под его редакцией и с его предисловием «Русская сказка. Избранные мастера» (1932), «Сказки Магая» (1940) и по качеству записей, и по принципам издания, и по научному уровню комментариев давно уже стали классическими. Не случайно почти все они впоследствии переиздавались (что с фольклорными текстами случается крайне редко) и вызвали такой интерес и такое большое количество откликов в странах Западной Европы. При этом в названные здесь книги вошло не более половины материалов, которые были собраны Марком Константиновичем — многое из его архива, как уже говорилось, погибло в годы гражданской войны. Так, из ста сказок, записанных летом 1915 года в верховьях Лены, в руках собирателя осталось лишь около пятидесяти.

В своей собирательской деятельности М. К. Азадовский следовал лучшим традициям русской науки. Подобно П. Н. Рыбникову и А. Ф. Гильфердингу, он выступал против безличного начала в фольклоре, интересовался творческой индивидуальностью каждого исполнителя; подобно А. А. Шахматову, которому, кстати сказать, посвящены «Верхнеленские сказки», в своих полевых записях он предельно точен — настолько, что эти записи стали надежным источником для диалектологов*.

Вместе с тем, использование опыта старых и новых собирателей сочеталось в его работе с требованиями современной теории. И, конечно, его постоянное внимание к индивидуальному мастерству сказителя определяется не только знакомством с работами, скажем, А. Ф. Гильфердинга, но и принятием многих положений, выдвинутых его старшим товарищем С. Ф. Ольденбургом.

«Нужно стремиться дать отчет о каждом лице, у которого записаны тексты,—замечает Марк Константинович в предисловии к «Ленским причитаниям»,—выявить его поэтическое дарование, установить его поэтический опыт».

При этом индивидуальное изучение не становилось для исследователя самоцелью. Он говорит о таком изучении

---

* «А. А. Шахматову я обязан осуществлением своих этнографических поездок,— писал М. К. в посвящении,— ему первому сообщал об их результатах, его советами и указаниями пользовался неизменно в каждой своей работе».

личного начала, которое в сумме дает представление об областных творческих «гнездах» и т. д. Диалектический характер соотношения между личным и коллективным в фольклоре, по-моему, всегда ощущался Азадовским.

Но было бы несправедливо считать Азадовского-собирателя только продолжателем и учеником названных ученых. Принципы, намеченные ими, он не только развил и обогатил, но и сам внес в эту область много нового.

Для Сибири собирательская деятельность Азадовского имеет совершенно исключительное значение — не только потому, что им опубликованы ценнейшие материалы. Можно найти людей, которые больше ездили и больше собрали, чем он. Но его поездки — на Амур, на Лену, в Иркутскую область, в Бурят-Монгольскую АССР — каждый раз преследовали вполне определенную научную цель и действительно оказывались новым словом в науке.

Можно без преувеличения сказать, что Азадовский открыл Сибирь для фольклористики. Одну из главных своих задач, которую в течение многих лет он решал, Азадовский видел сначала в проверке, а вскоре — в опровержении точки зрения Щапова и других авторитетных ученых, полагавших, что в Сибири почти полностью отсутствовала духовная жизнь, что сибиряки не поют песен, не сказывают сказок и что вообще они представляют собой низший тип по сравнению с обитателем центральной России. Именно поэтому ездил Азадовский на Амур — по следам Максимова; именно поэтому ездил он на Лену — по следам Щапова (поездка на Ангару — по следам Ровинского,— к сожалению, не осуществилась). И везде он убеждался, что его родная Сибирь ни в чем не уступает другим местам, что здесь было и есть богатейшее народное искусство. Песни и сказки, былины и причитания, народная драма и исторические предания—все находил он либо как практик-собиратель, либо как ученый-историк и архивист. Об этом не раз писал он в предисловиях к своим книгам; этому же вопросу посвятил он свою вступительную лекцию в Томском университете в 1920 году, об этом же развернуто сказал и в одной из последних своих книг — в «Очерках литературы и культуры Сибири» (1947).

Велика роль Марка Константиновича в собрании фольклора гражданской войны и фольклора Великой Отечественной войны. Иркутская конференция фольклористов и сказителей, проведенная с такими трудностями еще в начале 1943 года, по словам самого ее организатора, явилась «первой научной конференцией по вопросам соби-

рания и изучения фольклора Отечественной войны».

Первый научный сборник военных лет — «Фронтовой фольклор» (1944) — вышел с предисловием Азадовского, в котором намечались основные проблемы собирания и изучения нового материала, имевшего не только специальное, но и непреходящее общественное значение.

Огромную роль сыграл М. К. Азадовский и как организатор собирательской работы на местах. Его «Беседы собирателя», вышедшие в Иркутске двумя изданиями, стали настольной книгой молодого поколения фольклористов. Его ученики и младшие товарищи обошли буквально всю страну. Они побывали в Сибири и на Дону, в Карелии и на Урале, в Псковской области и на Волге, в русских районах Прибалтики, Молдавии и Тувы, на заводах Сормова, Ленинграда и Петрозаводска. Многое удалось сделать ученикам Азадовского и в области изучения фольклора народов СССР.

Еще до войны в его семинаре был выдвинут лозунг: «Каждому свой сборник». К этому все и шло. Коллективные книги «Сказки из разных мест Сибири», «Песни и сказки на Онежском заводе», «Былины Пудожского края» Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова, «Сказки Ф. П. Господарева» Н. В. Новикова и другие карельские издания, многочисленные сборники А. М. Астаховой, А. В. Гуревича и Л. Е. Элиасова, Н. П. Колпаковой, И. В. Карнауховой непосредственно связаны с именем и идеями М. К. Азадовского.

Еще в 1925 году Марк Константинович вошел в состав Центрального бюро краеведения при Академии наук СССР как представитель сибирских организаций. Позднее, являясь руководителем Сектора фольклора в Институте русской литературы АН СССР, заведуя кафедрой фольклора в Ленинградском университете, он возглавлял также фольклорную секцию Ленинградского отделения Союза советских писателей. Вся та огромная работа по собиранию произведений народного творчества, которая развернулась в нашей стране после I съезда писателей в 1934 году, проходила при его активном участии. Можно сказать и больше — именно М. К. Азадовский вместе с Ю. М. Соколовым способствовал тому, что это дело приняло столь широкий общественный размах. Еще за два года до съезда, до горьковского знаменитого выступления, названные ученые подали совместную записку руководству Союза; по их инициативе были созданы в Союзе специальные фольклорные секции.

Собственно научную работу профессора Азадовского

невозможно отграничить от его деятельности практика-собирателя. Уже его предисловия к книгам обратили на себя внимание специалистов. Там были даны такие полные, такие многосторонние характеристики исполнителей, равных которым немного найдется в русской и мировой науке. Недаром некоторые из них целиком опубликованы в зарубежных изданиях. Но дело не только в этих характеристиках, в исключительно обстоятельных историко-культурных комментариях и в удачных реконструкциях местных фольклорных традиций и особенностей. Здесь ставил и на своем, обычно сибирском материале решал автор общетеоретические проблемы.

И до Азадовского случалось иногда, что от одних и тех же сказителей делались повторные записи через несколько лет. Но именно этот ученый придал методу повторный записи принципиальное значение. С его помощью Марк Константинович показал текучесть, изменяемость фольклорных текстов, то есть доказал, что фольклор — не только пережиточное явление давних эпох, но и факт живого, современного творчества исполнителей.

«Сказка,— писал он,— никогда не бывает застывшей, неподвижной: ее носители — сказочники — не простые передатчики, но расказчики-творцы; они беспрерывно по-новому формируют старый материал и умеют сочетать его с темами самой жгучей современности».

Именно поэтому в отличие от большинства фольклористов Азадовский стремился к изучению фольклора как искусства. «Разумеется, — писал он, — этнографические факты занимают важное место в так называемой народной словесности и их нельзя игнорировать при всестороннем ее изучении, но еще более неправильно сводить всю устную поэзию к бытовому содержанию, не оценивая ни ее художественной структуры, ни личного творчества ее носителей».

Более поздняя формулировка этого же утверждения на долгие годы стала символом веры большинства советских исследователей: «Мы разрываем с безличной этнографией и входим в круг мастеров-художников, в круг деятелей искусств, где общая коллективная работа отмечена печатью создающих и ведущих ее ярких художественных индивидуальностей».

Если говорить о своеобразии школы Азадовского, то его следует искать не столько в постановке проблемы индивидуальности в фольклоре (эта проблема возникла и в трудах его современников и предшественников), сколько

в самом подходе к словесным произведениям народного творчества именно как к произведениям искусства, в значительном сближении методов изучения фольклора и литературы, в сближении фольклористики и общего литературоведения, а также в широкой и исторически обусловленной постановке проблемы взаимоотношений литературы и фольклора и — не в связи ли с последним? — в особом внимании к вопросам историографии.

Уже в XIX веке были известны факты проникновения в фольклор произведений письменной литературы. Так, о фольклорной жизни пушкинской «Черной шали» Н. Полевой писал еще в двадцатых годах прошлого столетия. Однако только XX век во весь рост поставил перед учеными вопрос о связи фольклора и литературы. Нужно сказать, что старая академическая наука так и не смогла дать общего верного ответа на этот вопрос — ни с точки зрения влияния литературы на фольклор, ни с точки зрения воздействия фольклора на литературу. И это объясняется не столько тогдашней недостаточной осведомленностью в фактах, сколько позицией исследователей, не веривших в творческую самодеятельность народа, видевших не в народе, а в господствующих классах движущую силу истории.

Ряд блестящих работ М. К. Азадовского, написанных с привлечением огромного количества новых материалов, а, главное, на основе новой научной методологии, существенным образом способствовали решению этих важных и сложных проблем.

Исключительный интерес представляет его статья «Сказительство и книга», где рассматривается вопрос о влиянии литературы на фольклор. Выводы, сделанные автором, сохраняют все свое значение и сегодня. Вкратце они сводятся к трем основным положениям: «во-первых, неграмотность ни в коем случае не является обязательным условием подлинного сказительства; во-вторых, грамотность не только не служит разрушающим фактором, болезненно вторгающимся в сферу сказительства, но, в-третьих, служит подчас новым и творческим источником последнего».

Автор предупреждает исследователей о том, что книга в народном искусстве играет большую роль, чем это обычно предполагают*. Вместе с тем, ученый не делает отсюда вывода о творческом бессилии народа.

---

* Этой же теме посвящен утраченный этюд М. К. Азадовского «Крестьяне-библиофилы».

Очень поучительны суждения М. К. Азадовского о судьбах и современном состоянии народного творчества.

Фольклорист, Азадовский вовлекал в орбиту своих исследований по фольклору данные литературы; отличный литературовед, он всегда прибегал в своих историко-литературных этюдах к материалам народного искусства.

Работы Марка Константиновича по литературе — одна из вершин советской филологической науки. Ученый ввел в обращение новое понятие «фольклоризм писателя», которое характеризовало новый подход к объекту исследования. «Фольклоризм» — это намного больше того крохоборческого отыскивания параллельных сюжетов, образов и выражений, чем пробавлялось большинство современников и предшественников Азадовского. Сюда входит и анализ воззрений писателя на народ и народное искусство (что всегда связывается у него с характеристикой эпохи, с идейной борьбой), и изучение принципов усвоения фольклора, и рассмотрение взаимосвязей писателя с творчеством других художников, и многое другое.

Статьи о фольклоризме Радищева, Пушкина, писателей-декабристов, Лермонтова, Ершова, Языкова, Тургенева — ни один серьезный литературовед не может и сегодня обойтись без них.

Было бы ошибочно думать, что историографические вопросы имеют более узкое и специфическое значение, чем конкретные проблемы науки. Именно здесь наглядно выявил М. К. Азадовский самые общие закономерности развития науки, показав зависимость отдельных воззрений исследователей от широкой и постоянной идеологической борьбы.

Историографией фольклора ученый занимался всю свою жизнь. В начале своей научной деятельности он обращался главным образом к сибирским материалам («Эпическая традиция в Сибири», «Из деятельности крестьян-собирателей», «Задачи сибирской библиографии», «Декабристы в Сибири», «Иркутский университет и изучение местного края. 1918—1928», «Сибирская литература» и др.). В 1930—1940-е годы Марк Константинович создал ряд статей, посвященных фольклористическим воззрениям революционных демократов — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Герцена.

Так постепенно, в ходе неустанного напряженного труда, ученый подошел к мысли об обобщающей книге.

«История русской фольклористики» писалась много лет. По словам самого автора, он почувствовал в себе силы

взяться за нее только годам к пятидесяти. Война, естественно, отсрочила издание книги. А затем выход ее задержался еще на несколько лет вследствие несправедливых нападок на ученого, появившихся в период культа личности. В сокращенном виде части этой работы появились в вузовском учебнике по фольклору только в 1954 году, в год смерти Марка Константиновича (учебник этот переиздавался несколько раз).

В полной редакции первый том «Истории русской фольклористики» вышел в 1958 году. Второй том, благодаря усилиям и огромной работе по подготовке рукописи вдовы ученого Лидии Владимировны, издан в 1963 году.

Прочитав только что появившийся в продаже первый том «Истории русской фольклористики», один мой знакомый, специалист в области фольклора, в шутку заметил, что при желании из этой книги можно было бы сделать несколько докторских диссертаций. И действительно, работа М. К. Азадовского — явление незаурядное; значение ее выходит далеко за рамки одной какой-то научной дисциплины. ⟨...⟩

Книга даже при самом беглом знакомстве с ней поражает прежде всего обилием и добротностью нового фактического материала. Обычно роль историографа, историка науки, сводится лишь к систематизации и обобщению готовых исследований по отдельным проблемам. Сам по себе это труд огромный. Однако в данном случае ученый не ограничился этим. В очень и очень многих случаях всю первоначальную работу он проделывает заново, поэтому, сведения, сообщаемые автором, заслуживают полного доверия.

Если судить о книге с точки зрения фольклориста, то наиболее важными, ценными представляются главы, посвященные XVIII веку (особенно Радищеву), фольклоризму декабристов, революционных демократов (причем в ряде случаев М. К. Азадовскому принадлежит честь самой постановки этих проблем в советской науке). Большое значение имеют также разделы, показывающие связи русской и зарубежной (в первую очередь славянской) фольклористики. Не кто иной, как М. К. Азадовский впервые отметил роль француза Фориэля и его сборника новогреческих клефтических (разбойничьих) песен, сборника, забытого, кстати сказать, на родине ученого. Эти песни, проникнутые духом борьбы за свободу, были не случайно переведены Гнедичем, поначалу близким к передовым кругам писателем; они сыграли свою роль в развитии декабристской фоль-

клористики. Так, исходя из правильных общетеоретических предпосылок, автор сумел до конца раскрыть широкое взаимодействие прогрессивных научных сил Западной Европы и России.

Общественная позиция, философские взгляды того или иного ученого или писателя, эволюция их, анализ деятельности в целом и мастерский разбор главнейших трудов — все это имеется в книге и все это делает ее полезнейшим пособием для студента, учителя, специалиста, интересующегося литературой, историей, этнографией, философией, музыкой и лингвистикой. А страницы, посвященные Пушкину или Гоголю,— и по самому предмету разговора, и по любопытнейшим и малоизвестным фактам, которые сообщаются там,—имеют общечитательский интерес.

И все-таки, хотя здесь уже сказано об этом много хорошего, достоинства книги не ограничиваются наличием массы разнообразных сведений.

Большое принципиальное значение имеют построение, периодизация и методология исследования. Если сбор и накопление такого количества фактов — личный подвиг ученого-эрудита, то верные общетеоретические предпосылки, из которых исходит автор, выработаны всей нашей советской наукой в борьбе с взглядами реакционных и либерально-буржуазных ученых, в борьбе с догматами и вульгарными социологами. В этом смысле работа М. К. Азадовского свидетельствует об идейной зрелости всей нашей гуманитарной науки, активным, видным деятелем которой был и автор «Истории русской фольклористики».

До М. К. Азадовского по традиции считалось, что весь XVIII и первые десятилетия XIX века (вплоть до Буслаева — это «донаучный» период фольклористики. Ученый убедительно опровергает это. Так же ошибочно весь последующий период (до 1917 года) был поделен на четыре этапа, соответственно, якобы, времени деятельности школ: мифологической, школы заимствования, антропологической и исторической. Эта схема имела в виду лишь развитие официальной, так называемой академической науки. Она исключала революционно-демократическую фольклористику и многие другие прогрессивные явления. Она, эта схема, справедливо утверждает автор, совершенно искажает действительную картину, во-первых, потому, что отворачивается от достижений передовой науки, а, во-вторых, потому что на самом деле мирной замены, последовательного изжития одних теорий другими не было: школы существовали одновременно, между ними и внутри

них проходила ожесточенная борьба (М. К. Азадовский совершенно справедливо расширяет свой вывод и на западноевропейскую науку). Борьба же эта, как и смена научных школ, объясняется не столько внутренними причинами, сколько влиянием социальных факторов: «Никакие фольклористические теории,—пишет исследователь, — не живут какой-то отдельной, самостоятельной жизнью... их появление, развитие и отмирание обусловлено теми же социально-политическими процессами, которые обусловили и все развитие русской литературы». Именно поэтому, поставив в центре внимания проблемы одной науки, фольклористики, автор столь широко использует материалы смежных общественных дисциплин.

Многое можно было бы сказать еще о содержании и значении этой книги. Но подробный разбор ее — дело специальной печати. Одно уже сразу стало ясно, как справедливо пишет в своем содержательном предисловии В. М. Жирмунский, что книга «войдет в число классических советских трудов по вопросам народного творчества». Известно уже немало зарубежных откликов на нее, а чешский журнал «Люд» полностью перепечатал раздел, относящийся к славянской фольклористике.

Нет никакой возможности сколько-нибудь детально рассмотреть десятки других значительных работ ученого. Но нельзя не сказать о его последних годах, когда он, тяжело больной, продолжал свое подвижническое служение советской науке.

Последние годы жизни, омраченные несправедливыми нападками в печати, жестокими «проработками» в университете (после одной из них мы с Д. М. Молдавским буквально вынесли его из зала, сам он идти уже не мог), он провел дома, вне стен Пушкинского дома и университета. Однако и тут Азадовский не сложил рук, не перестал работать, он просто не в состоянии был так поступить, как не может человек не дышать. Слова поэта: будь таким «волей сердца своего молодым» — как нельзя точнее говорят о нем. Он замышляет много новых интересных исследований. Еще в давние годы была опубликована работа Марка Константиновича «Поэтика гиблого места», посвященная изображению Сибири в русской литературе. Теперь он думает написать большую обобщающую книгу «Пейзаж в русской литературе» («Сидел бы года два, читал бы — и написал»), он собирается возвратиться к циклу своих искусствоведческих работ и выполнить исследование о картине «Не ждали» И. Е. Репина.

Но он не только строит планы. Он публикует целую серию работ, посвященных декабристам — Кюхельбекеру, Рылееву, Якубовичу, Бестужевым, Якушкину; под его редакцией и с его статьями и комментариями выходят «Воспоминания» В. Ф. Раевского, «Воспоминания Бестужевых», сборник новых материалов о декабристах. Марк Константинович пишет исключительно ценное исследование «Затерянные и утраченные произведения декабристов», являющееся в своем роде образцовым для последующих поколений филологов.

Он снова обращается к родной Сибири и буквально в течение нескольких месяцев пишет о давнем друге В. К. Арсеньеве книгу, выдержавшую уже три издания. Он рецензирует множество сибирских изданий. Его имя в эти годы встречалось не только в специальных научных органах, но и в «Сибирских огнях» в альманахе «Байкал», в «Советской этнографии», «Советской книге», «Новом мире», «Огоньке». А ведь автором всех этих мелких заметок и рецензий, блестящих статей (один разбор «Певцов» Тургенева чего стоит!) и фундаментальных, основополагающих трудов был ослабленный донельзя, маленький, похудевший шестидесятипятилетний человек. Но он не сдавался! Он был таким живым, интересным собеседником (а после этого полдня отлеживался), он так любил и так хотел работать! За месяц до смерти он писал своему другу: «Приезжала одна знакомая из Москвы, рассказывала со слов врача, лечащего Тарле, что у него осталось на три копейки сердца, а мозгу на тысячу рублей. Не знаю, насколько осталось у меня того и другого, но уверен, что мозгов еще на несколько рублишек есть. И девать их мне все равно некуда».

И он просит: «Так позвольте же мне поработать для Вашего издания, присылайте свою докторскую диссертацию — я дам свой отзыв о ней. Работать! Работать!»

Он был уже так слаб, что писать не мог, и эти строки не написаны им, а продиктованы. И достойно протекли его последние дни: он получил работу, он написал отзыв на диссертацию (а это, между прочим, была докторская диссертация И. С. Зильберштейна), он даже прочел еще одну книгу и продиктовал В. Ю. Крупянской рецензию на нее. Это было уже за 10—12 дней до смерти. Но как это было умно, содержательно — ведь профессор сам любил повторять: «Что такое рецензия? Рецензия — это параллельное исследование».

Временами он впадал в забытье, и тогда ему казалось, что он снова, как и много лет подряд, поднимается на

кафедру, снова начинает свою лекцию... До конца оставался он, наш дорогой Марк Константинович, большим ученым, выдающимся воспитателем молодых сил науки, общественным деятелем, патриотом.

О. Г. ПЕТРОВСКАЯ

ДОБРЫЙ ДРУГ

...Заснеженный город. Высокие иззябшие сосны беспорядочными толпами разбрелись по улицам. Не во всех домах топятся печи. Не всегда люди имеют горячую пищу. Работают много. Отдыхают мало. Но люди хотят учиться. И вот появляется Институт народного образования в Чите — высшее учебное заведение со всеми правами и преимуществами настоящих вузов. Профессура с большими именами: профессор Марк Константинович Азадовский — известный фольклорист, библиофил и литературовед, ученик Шахматова и Венгерова,—вводил нас, студентов, в тайны методологии и литературоведения; профессор Маслов читал нам лекцию по экономическим дисциплинам; В. А. Малаховский преподавал языкознание; П. П. Дрягин — поэтику и т. д.

В январе 1922 года при институте был организован историко-литературный кружок, объединивший 80 человек: профессоров, студентов, поэтов, журналистов и художников города. Целью кружка было изучение историко-литературных вопросов, разработка методов исследования искусства, собирание материалов о творчестве деятелей местного края.

Товарищ министра просвещения М. П. Малышев поддержал мысль о создании кружка и об издании сборника кружка. В августе 1922 года по инициативе М. К. Азадовского появилась книжка в 115 страниц под названием «Камены» в серой обложке из простой оберточной бумаги. В сборник вошли работы профессоров, студентов и членов группы «Творчество», с которой у кружка была тесная связь.

Работой кружка руководил профессор Азадовский. Его «Ленские причитания», изданные в 1922 году в Чите, опубликованные в «Каменах», вошли в фонд истории русской литературы. В первом томе «Литературной энциклопедии» говорится, что этот труд М. К. Азадовского обогатил науку новыми материалами и наблюдениями.

М. К. Азадовский прививал студентам не только любовь к родному языку и литературе, но и к фольклору, к фольклористике как науке.

Обладатель превосходной библиотеки, он и нас заражал страстью к собирательству книг, развивая и утончая наш несовершенный вкус. Благодаря ему многие из нас тоже становились собирателями книг и составителями своих библиотек.

(А в 1935 году в трудную для меня минуту Марк Константинович с большой грустью помог мне расстаться с частью моей библиотеки: тщательно собранные книги по символизму, футуризму и по творчеству Пушкина перешли в библиотеку Дома литераторов им. Маяковского в Ленинграде.)

Незабываемо впечатление от блестящей вступительной лекции М. К. Азадовского в курс «Введение в методологию», собравшей в большом актовом зале студентов всех факультетов института. Как сейчас помню его чуть глуховатый голос с едва заметным придыханием, уже тогда выдававшем его начинавшуюся серьезную болезнь... В полной тишине слушали студенты великолепное и точное изложение мысли оратора, обоснованное и убеждающее. Лектор он был прекрасный. Увлекающийся и увлекающий.

Внимательный, подчас до суровости строгий и требовательный педагог, умный и благородный человек, Марк Константинович не оставлял заботой своих учеников. Среди них он отыскивал талантливых и работоспособных, самолюбивых и трудолюбивых, неутомимо следя за их ростом. В то же время не забывал и о средних и слабых студентах, направляя их и всячески помогая им. И даже потом, когда жизнь разбросала всех нас по разным городам, Марк Константинович интересовался нашей работой и нашей жизнью. В 1924 году, работая в Иркутске, Азадовский опубликовал книжку «Беседы собирателя» с таким посвящением: «Моим ученикам — студентам б. Института Народного Образования в Чите 1921—23 гг.».

Много лет спустя, живя в Ленинграде в 1937—1938 годах, я была счастлива поработать под руководством Марка Константиновича в фольклорной секции Пушкинского дома. Мне было предложено редактирование и перевод марийских и удмуртских сказок и песен.

Временами я беру с полки труды Марка Константиновича Азадовского, надписанные его легким изящным почерком, читаю и перечитываю его письма, великолепные его подарки, возвращающие меня к светлому времени нашей дружбы, и тогда приходит огромная, неутихающая печаль о так рано ушедшем из жизни человечнейшем человеке, серьезнейшем литературоведе, добром друге...

Ф. А. КУДРЯВЦЕВ

М. К. АЗАДОВСКИЙ — ПРОФЕССОР ИРКУТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 20-х ГОДОВ

На педагогическом факультете Иркутского университета существовала хорошая традиция. Каждый новый преподаватель, приступая к занятиям в университете, читал открытую вступительную лекцию для всего коллектива преподавателей и студентов. В 1923 году с такой лекцией выступал М. К. Азадовский. Его глубоко содержательная лекция посвящалась вопросам теории литературы. Мы— студенты литературного, исторического, философско-педагогического отделений педфака—радушно приветствовали нового преподавателя. Ему преподнесли большой букет цветов. В дальнейшем я не раз слышал лекции и доклады Марка Константиновича в университете, в Географическом обществе и на знаменитых в свое время «Музыкальных пятницах». Особенно запомнилась его лекция «Тургенев в музыке», открывшая одну из «Музыкальных пятниц». Интересуясь со студенческих лет вопросами жизни и деятельности декабристов в Сибири, я с большим вниманием слушал доклады и лекции, читал статьи своих учителей — Б. Г. Кубалова и М. К. Азадовского, посвященные декабристскому движению. Они оказывали всяческое содействие молодежи, вступавшей на путь научной работы.

В 1925 году отмечалось столетие со дня восстания декабристов. В Иркутске под редакцией М. К. Азадовского и Б. Г. Кубалова был издан сборник статей и материалов «Сибирь и декабристы». По предложению редакторов к участию в сборнике были привлечены начинающие тогда историки В. Е. Дербина и Ф. А. Кудрявцев.

С сентября 1924 года по 1931 год я работал в Верхнеудинске (теперь Улан-Удэ), но моя связь с М. К. Азадовским не прерывалась. Я часто бывал в Иркутске и встречался с ним. Нас объединяла совместная работа по изучению Бурятии. М. К. Азадовский участвовал в изданиях, выходивших в Бурятской АССР, в сборнике «Декабристы в Бурятии» (1927), в журнале «Жизнь Бурятии».

В 1928 году под редакцией М. К. Азадовского, М. П. Алексеева, И. Гольдберга вышел первый выпуск «Сибирского литературно-краеведческого сборника». По предложению Марка Константиновича я написал статью «Забытый сибирский поэт Д. П. Давыдов» об авторе известной песни «Славное море — священный Байкал»

М. К. Азадовский был замечательный библиограф, выявлявший редкие книги. Он познакомил меня с книгой Давыдова «Поэтические картины», ставшей библиографической редкостью, и другими изданиями. Советы Азадовского были использованы мною при издании сборника стихотворений Давыдова. После отъезда Азадовского из Иркутска я переписывался с ним. Новая встреча с Марком Константиновичем в Иркутске произошла уже во время войны. Он преподавал тогда на возрожденном после длительного перерыва историко-филологическом факультете и многое сделал для его укрепления, а также для воспитания молодых научных работников. По инициативе Азадовского при Иркутском университете было организовано Научное общество истории, литературы, этнографии.

С Азадовским связана защита мною кандидатской диссертации. В качестве ее я представил книгу «История бурят-монгольского народа с XVII в. до 60-х гг. XIX в.». Азадовский был официальным оппонентом при защите диссертации и дал тщательный анализ книги.

Навсегда останется светлая память о М. К. Азадовском — крупном ученом и хорошем человеке.

К. В. ЧИСТОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. К. АЗАДОВСКОМ

О Марке Константиновиче Азадовском я слышал еще до поступления на филологический факультет Ленинградского университета. О нем рассказывал мне мой брат В. В. Чистов. Он с 1934 года учился в университете и с первого курса увлеченно работал при незадолго перед этим открывшейся кафедре русского фольклора. С 1935 года он начал участвовать в фольклорных экспедициях.

До поступления в университет мне удалось прочитать и некоторые работы М. К. Азадовского — это был двухтомник, изданный в издательстве «Academia», «Русская сказка. Избранные мастера» и статьи о сказках Пушкина и об Арине Родионовне. Двухтомник, как мне помнится, брат приносил из библиотеки, приобрести его удалось только позже; а статьи о Пушкине заинтересовали меня особенно, так как в конце 1936 и начале 1937 года, когда я учился в десятом классе, мне пришлось выступать с лекциями и чтением пушкинских стихов на предприятиях Детского Села

(с 1937 года — г. Пушкин). В связи со 100-летием дуэли и гибели великого поэта пушкинский юбилей праздновался очень широко.

В эти же годы — с января 1935 года — мне посчастливилось быть причастным к замечательному и своеобразному детскому литературному клубу (он назывался Детский литературный университет), организованному С. Я. Маршаком. После литературного конкурса газеты «Ленинские искры» было отобрано из Ленинграда и ближайших пригородов, кажется, около 30 мальчиков и девочек. Мы собирались обычно два раза в неделю по вечерам в старом здании на Исаакиевской площади и занимались языками, слушали литературные и всякие другие лекции, обсуждали свои стихи и рассказы. Кроме того, С. Я. Маршак иногда просто приходил с какой-то книгой (стихами Баратынского, Тютчева, Верхарна, Уитмена и т. д.), читал нам стихи по-русски, по-французски или по-английски и в переводах и говорил о том, как он их понимает и как их надо понимать. И, наконец, он любил приводить к нам интересных людей. Среди них были известный полярный исследователь В. Ю. Визе, писатель и пушкинист А. Л. Слонимский, челюскинцы, архангельский писатель Б. В. Шергин, Л. И. Пантелеев и многие другие. Среди них оказались и крупнейшие северо-русские сказители, приезжавшие в те годы в Ленинград — певец былин П. И. Рябинин-Андреев и исполнитель былин и сказочник Ф. А. Конашков. Они меня чрезвычайно заинтересовали. После нескольких лет типичного мальчишеского рационализма, заставлявшего меня отвергать сказки и показавшиеся мне в школе совершенно неинтересными былины, я вдруг увидел старых людей, которые с удивительной серьезностью и, вместе с тем, артистизмом и явным удовольствием поют былины и рассказывают сказки. В живом исполнении это было что-то совсем новое и увлекательное, мало похожее на чтение сказок из детских книжек или, тем более, чтение былин в школьных хрестоматиях.

Таким образом, чтение первых, ставших мне доступными, работ М. К. Азадовского, встречи со сказителями и рассказы брата о фольклорных экспедициях увлекали меня в одну и ту же сторону. Я поддался этому юношескому увлечению и остался верен ему всю жизнь.

Поэтому, когда с братом и родителями я обсуждал, какую мне выбрать специальность, куда пойти учиться после десятого класса, я без колебаний назвал филологический факультет, и было решено: необходимо убедиться

в том, что я не ошибся в выборе, и побывать хотя бы на нескольких лекциях в университете. Так я попал на лекции Г. А. Гуковского, Д. Е. Тамарченко и, конечно, М. К. Азадовского — это была одна из лекций по истории русской фольклористики. М. К. Азадовский не обладал таким ошеломляющим красноречием, как Г. А. Гуковский, но меня поразила серьезность и историческая глубина проблем, которые в его лекциях связывались с проблемами фольклора. Первобытность, сравнительные материалы из фольклора других народов, связь фольклористики с проблемами русской литературы и общественного движения XIX века, современное бытование фольклора — все это увязывалось в единую по своим масштабам концепцию, еще совершенно незнакомую и не вполне понятную мне. Но зато я со всей ясностью ощутил: фольклор — не только интересен, о нем существует серьезная наука. Это окончательно определило мой выбор. Я решил идти на филологический факультет для того, чтобы заниматься фольклористикой у М. К. Азадовского. Я понимал вместе с тем, что это не только не отвлечет меня от других моих литературных интересов, но придаст им неожиданные краски. В этом же я убедился, читая одну из курсовых работ моего брата Василия «Пушкинский «Узник», в фольклоре». И в этом смысле я тоже не ошибся.

Вокруг М. К. Азадовского сложилась многолюдная, но тесно связанная друг с другом группа студентов разных курсов — члены фольклорного кружка и семинара. Все они работали при кафедре, но вместе с тем М. К. Азадовский поощрял параллельную работу в других семинарах. Так на первых четырех курсах я побывал в семинарах Г. А. Гуковского, Б. М. Эйхенбаума, В. Е. Евгеньева-Максимова, слушал спецкурсы В. М. Жирмунского, В. А. Гофмана, Г. А. Гуковского.

Я позже понял — это не был просто педагогический прием. Марк Константинович сам был литературоведом в такой же степени, как фольклористом. Его работы по XIX веку (декабристы, Тургенев, Омулевский, Короленко и др.) первоклассны. Впрочем, достаточно почитать его двухтомную «Историю русской фольклористики», чтобы представить себе, сколь обширны были его познания в истории русской литературы.

Характерно, вместе с тем, что М. К. Азадовский, после того, как в 1938 году при филологическом факультете была открыта кафедра этнографии, рекомендовал своим ученикам ходить на лекции Д. К. Зеленина, Е. Э. Бломквист, П. Н. Винникова. Вопрос о том, что есть фольклористика:

филологическая наука (раздел литературоведения) или наука этнографическая, вообще не стоял, тем более в том виде, в каком его много раз возбуждали позже некоторые фольклористы. Кстати, когда мне через несколько лет пришлось быть аспирантом при той же кафедре, мы сдавали кандидатский минимум, который охватывал и литературоведческую, и этнографическую, и собственно фольклористическую проблематику. Понимание фольклористики как науки одновременно филологической (словесные тесты) и этнографической (они функционируют в народном быту) было для М. К. Азадовского само собой разумеющимся. Как известно, в студенческие годы, учась на филологическом факультете, он, как тогда говорили, приватно занимался этнографией (в том числе и этнографией Сибири) у Л. Я. Штернберга.

Но возвратимся назад. В 1937 году я стал студентом филологического факультета. В конце сентября в первый раз при мне собрался фольклорный кружок — на нем слушались предварительные доклады об экспедициях прошедшего лета. Тут я впервые встретился с большинством предвоенных учеников М. К. Азадовского (с некоторыми из них — сокурсниками моего брата — я был уже знаком) — А. Д. Соймоновым, Г. Н. Париловой, М. М. Михайловым, В. Р. Дмитриченко, Н. В. Новиковым, А. М. Кукулевичем, О. Володиной, М. А. Шнеерсон, И. М. Колесницкой, И. Н. Этиной и др. Четырем из своих учеников, погибшим в годы Великой Отечественной войны, М. К. Азадовский посвятил свою двухтомную «Историю русской фольклористики». Посвящение гласит: «Светлой памяти моих учеников-фольклористов, павших в боях за родину: Анатолия Кукулевича, Ольги Володиной, Ивана Кравченко, Михаила Михайлова посвящается» (Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1953. С. 19).

Заседания проходили весьма непринужденно. Доклады начальников отрядов переходили в общую беседу, расспросы. М. К. Азадовский — известный собиратель с большим экспедиционным опытом — в эти годы в «поле» уже не ездил, но надо было видеть, с каким интересом он расспрашивал вернувшихся из экспедиций. Его радовала увлеченность молодежи, и глаза его светились лаской и открытым удовольствием, когда он видел, что записано что-то особенно интересное и записавший смог это оценить. Видны были не только тексты, но и значительные исполнители, особенности их репертуара и сказительской манеры, отношение к ним односельчан, приемы записи. Почти все

было мне внове и слушалось с необыкновенным интересом.

Во втором полугодии начались лекции по фольклору. Курс М. К Азадовского был настолько содержательным, что к концу полугодия я со всей наивностью считал себя фольклористом. Я прочитал всю рекомендационную литературу, читал сборник за сборником текстов и, пользуясь советами брата, старался как можно больше прочитать классических фольклорных монографий. Это стимулировалось также тем, что довольно значительная часть курса русского фольклора отводилась истории русской фольклористики. Я еще не знал тогда, насколько это необычно. Поэтому, когда начались систематические курсы по истории русской и зарубежной литературы, мне казалось, что им не хватает историографических введений или рядом с ними (перед ними?) должен был бы читаться курс истории литературоведения.

Позже я понял, что такое внимание к историографии было связано у Марка Константиновича помимо всего прочего с тем, что в эти годы он работал над «Историей русской фольклористики». Однако, это все-таки недостаточно объясняет то влияние, которое оказало на меня и моих товарищей — учеников М. К. Азадовского — такое построение курса. Марк Константинович приучил нас не ожидать от него непрерывного изречения истин. Когда какая-то проблема ставилась, то тут же демонстрировались ее различные решения, которые предлагались учеными, принадлежавшими к разным школам и направлениям. Каждая проблема, таким образом, получала историческую перспективу, а отдельные ее решения не представлялись только ошибочными, они получали историческую мотивировку. Часто (если не обычно) оказывалось, что они не просто неверны, а содержат все-таки какое-то рациональное зерно, отражают какую-то сторону вопроса, иногда в гипертрофированном виде, но все-таки реально существующую. Это приучало что-то принимать, а что-то не принимать, не считать, что есть раз и навсегда установленные истины (или, скажем, мягче, решения отдельных проблем), что наука динамична и нас ждут свои решения. Только сейчас можно по-настоящему оценить, как это было важно на фоне нараставшей догматичности общественных наук того времени.

Вероятно, это все так прямо не формулировалось, но так отложилось в сознании, так об этом теперь вспоминается. Круг учеников М. К. Азадовского, в котором я оказался, был очень активен. Вопросы, возникавшие в семинаре, на занятиях кружка, на лекциях, продолжали обсуждаться

в перерывах, после занятий, и, как я узнал позже — особенно рьяно во время экспедиций. Одна из постоянно и остро обсуждавшихся проблем могла бы иллюстрировать и горячность, и незрелость наших тогдашних споров — почему Марк Константинович придает такое значение истории науки, ее самопознанию? Является ли это показателем кризиса фольклористики или, наоборот, ее развития, приобретения ею разносторонности? Нам тогда трудно было понять, что то и другое могло совмещаться, переплетаться и не противоречить одно другому. Надо учесть еще, что все это происходило на фоне 1937—1938 годов, для которых характерно было обострение национально-патриотических настроений, связаных с явно приближавшейся войной и, вместе с тем, исключительно сложных и противоречивых внутренних событий.

Полугодие заканчивалось, дело шло к экзаменам. И вдруг оказалось, что они меня пугают. За год я успел познакомиться с Марком Константиновичем, ходил на занятия его кружка, на заседания его кафедры и мне казалось, что он считает меня своим потенциальным учеником.

Если я чувствовал себя хоть маленьким, но уже каким-то фольклористом, а Марк Константинович видит во мне своего ученика, то сколько мне надо знать, чтобы не подвести его? И я начал не просто читать фольклористические книги, а лихорадочно готовиться к экзамену.

Экзамен я сдал хорошо. Марк Константинович дважды прерывал меня, говорил: «Ну, хватит, хватит, я вижу, что Вы это знаете!». После первого вопроса он позвал Наталию Павловну Колпакову послушать, как отвечает один из членов кружка. Она была в это время заведующей кабинетом фольклора и очень приветливо относилась ко всем, кто интересовался фольклором и постоянно занимался в кабинете.

Экзамен кончился для меня вполне благополучно — я получил «5». Марк Константинович не знал тогда, что эту пятерку мне пришлось «оплатить». Студенты могли в те годы сами решать, в какой из тех дней, которые объявлены профессором, они будут экзаменоваться. В ту сессию мне полагалось сдать какое-то количество зачетов и три экзамена. Один из них я сдал досрочно. 24 дня, которые у меня образовались для сдачи оставшихся двух, я распределил так — 20 дней отвел на фольклористику и только три дня — на политэкономию. Оказалось, что несмотря на занятия в году (чтение «Капитала» и т. д.), трех дней для политэкономии было мало, а никаких возможнос-



М. К. Азадовский. 1920-е гг.



М. К. Азадовский. 1907 г.



М. К. Азадовский
с матерью В. И. Азадовской.
Хабаровск, 1912 г.

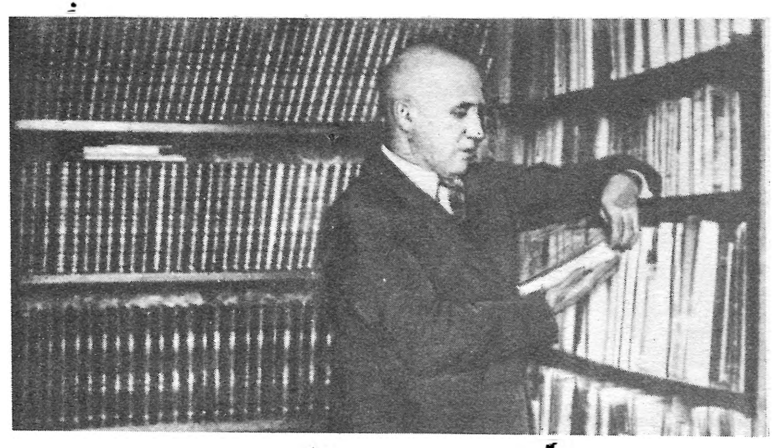


М. К. Азадовский (сидит второй слева) среди иркутских писателей. 1942 г.



Магдалина (третья слева), Марк и Лидия (крайняя справа) Азадовские.
Хабаровск, 1915 г.

Марк Константинович и Лидия Владимировна Азадовские. Ленинград. 1937 г.



М. К. Азадовский. Ленинград. 1937 г.



М. К. Азадовский, С. М. Стрижевская и Р. Л. Стрижевский. Иркутск. 1920-е гг.



М. К. Азадовский (второй справа). Хабаровск. 1915—1916 гг. (?)



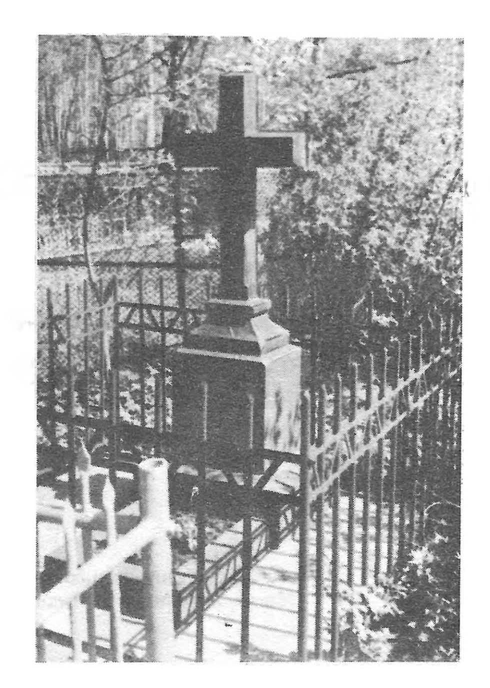
М. К. Азадовский и Г. С. Виноградов. Иркутск, 1928 г.



Иркутский гимназист Иосиф Левенсон,
Магдалина, Марк и Лидия Азадовские. 1917 г.



Лидия Владимировна Азадовская. Ленинград. 1976 г.



Могила М. К. и Л. В. Азадовских на Охтинском кладбище в Ленинграде.

тей маневрировать у меня уже не осталось. Я явился на экзамен измученный и усталый. Преподаватель выслушал меня терпеливо и, улыбаясь, спросил: «Вы довольно старательно выкручиваетесь, но скажите честно, сколько дней Вы занимались перед экзаменом?» Мне пришлось ответить: «Три дня...». «Ну,—сказал он,—такова и цена Вам!». И поставил мне в зачетную книжку тройку — единственную для меня тройку за все время учебы в университете.

Марк Константинович, кажется, действительно не знал об этой тройке. Экзамен по политэкономии был после фольклорного. По крайней мере мне он об этом ничего не говорил и ни о чем не спрашивал. Сейчас я с некоторым сомнением размышляю об этом, так как у М. К. Азадовского очень развито было то, что можно было бы назвать «чувством учителя». Его ученики должны были составлять «школу Азадовского». Он следил с интересом и некоторым напряжением за ними. Мы должны были быть достойны его. Поэтому он мог остановить в коридоре кого-нибудь из своих учеников и спросить с огорчением: «Как же Вы могли получить тройку по французскому языку? Мои ученики так не учатся!». Но, может быть, к моменту экзамена он не считал еще меня своим учеником?

Марк Константинович очень заботился о нас и радовался каждому нашему успеху. В послевоенные годы ему, отягощенному уже болезнями, трудно было после занятий нести портфель, обычно туго набитый книгами и рукописями. Мы стремились ему помочь, а Марк Константинович любил назначать провожавших по очереди. Жил он в это время на углу Невского и улицы Герцена. Это было сравнительно недалеко, но все-таки надо было дойти от филологического факультета до Дворцового моста, обогнуть адмиралтейский сад и по Невскому дойти до бывшего дома Елисеева на улице Герцена. По дороге задавался традиционный вопрос: «Ну, что же Вы читали за последний месяц по фольклористике?», и далее следовала интереснейшая беседа о прочитанном или о готовившейся курсовой или дипломной работе, о диссертации, об экспедиционном отчете или, наконец, о какой-нибудь уже сочинявшейся статье или рецензии.

Эти беседы незабываемы. Они не только держали нас в постоянном напряжении («Что я читал за этот месяц по фольклористике?»), но и учили обдумывать прочитанное, выяснять какие-то попутные вопросы, накапливать сомнения и аргументы.

Марк Константинович не только радовался успехам своих учеников, но и любил демонстрировать их своим коллегам по факультету или фольклористике. Помню, как он смутил меня в дни юбилейного съезда Всесоюзного географического общества в 1948 году в Ленинграде. В перерыве между заседаниями фольклорной секции П. Г. Богатырев рассказал Марку Константиновичу о том, что одна из его аспиранток пишет диссертацию об олонецких причитаниях и попросил поконсультировать ее. Марк Константинович тут же позвал меня и велел консультировать аспирантку Богатырева. Это означало: посмотрите, мой аспирант консультирует аспирантку Богатырева! Я же только начинал заниматься И. А. Федосовой и причитаниями и вовсе не считал, что я могу кого-то консультировать. Но пришлось, напрягаясь, как говорят, из последнего.

Помню, как мне досталось от Марка Константиновича за рецензию на «Спутник фольклориста» В. Ю. Крупянской и В. М. Сидельникова, написанную вместе с братом и опубликованную в 1939 году в «Резце». Побывав в двух экспедициях (а брат, вероятно, в четырех-пяти), я вообразил себя знатоком методики собирания фольклора и под руководством брата разносил в пух и прах методичку В. Ю. Крупянской и В. М. Сидельникова. Это была юношеская дерзость, и Марк Константинович дал мне понять это. Это был мой «Ганс Кюхельгартен», и сейчас я бы с удовольствием скупил тираж журнала для уничтожения его. Но уже поздно. Хорошо, что этот эпизод основательно забыт. В послевоенные годы, когда я близко познакомился и даже подружился с В. Ю. Крупянской, она время от времени напоминала мне о нем и подшучивала над моей юношеской отвагой.

В аспирантское время, когда как-то раз надо было составить еще весьма скудный список работ, я спросил, упоминать ли мне об этой рецензии. Марк Константинович сказал суховато: «Придется!», но потом все-таки хитровато улыбнулся.

Не надо думать, что Марк Константинович нянчил нас. Он стремился скорее приобщить нас к делу и к самостоятельности. Он удивительно умел вовлекать своих учеников в подлинные дела и избегать столь распространенной в учебных заведениях «игры в науку» — пишутся сотни курсовых и дипломных работ и потом все оказываются в мусорной корзине. Исключений не так уж много.

Я не знаю ни одного довоенного (да и послевоенного) филологического семинара, участники которого столь ак-

тивно печатались бы. Так, М. М. Михайлов, погибший в годы войны, в студенческие годы собрал уникальный материал и издал сборник «Русские плачи Карелии», Н. В. Новиков — один из лучших сборников русских сказок «Сказки Ф. П. Господарева», Г. Н. Парилова и А. Д. Соймонов — «Былины Пудожского края», В. В. Чистов—«Творчество народов Карело-Финской ССР»; еще ранее Л. Громов, А. Д. Соймонов и В. В. Чистов выпустили весьма своеобразный сборник «Песни и сказки на Онежском заводе», И. М. Колесницкая вместе с М. К. Азадовским издала «Сказки Магая». Совсем перед войной — в 1939—1941 годах — готовились сборники «Сказки Ф. Н. Свиньина» (В. Р. Дмитриченко), «Беломорские сказки» (И. М. Колесницкая и М. А. Шнеерсон), «Былины и исторические песни И. Т. Фофанова» (К. В. Чистов). Война помешала публикации этой «второй очереди» сборников. Я не упоминаю при этом статьи и библиографические работы (например, по рабочему фольклору — А. Д. Соймонова и В. В. Чистова), публиковавшиеся в студенческих томах «Ученых записок филологического факультета ЛГУ», и отдельные рецензии и заметки в самых разных изданиях.

Самым талантливым предвоенным учеником М. К. Азадовского был, несомненно, Анатолий Михайлович Кукулевич. Досадно, что его жизнь сложилась так, что деятельность в области фольклористики и литературоведения была слишком коротка. Он смог только довольно поздно, в 1934 году, поступить в университет — препятствием, существенным для конца 20-х — начала 30-х годов, было его дворянское происхождение. Но пришел он на филологический факультет по существу уже зрелым ученым, чрезвычайно образованным и даровитым. Его интересы были весьма широки — от античной филологии до русского фольклора, литературы начала XIX века и Достоевского. После окончания университета (его приглашали в аспирантуру три кафедры — античной филологии, русской литературы и русского фольклора) он был призван в армию и в 1944 году погиб. Он успел напечатать только статьи «Источники баллады Пушкина «Жених», «Из творческой истории баллады Пушкина «Жених» (обе в соавторстве с Л. М. Лотман) и «Идиллия Гнедича «Рыбаки».

Одним словом, никто сейчас не удивился, если бы подобная серия работ в наши дни была бы подготовлена за 5—6 лет целым институтом. И что особенно важно: на всех этих работах нет печати ученичества, незрелости, неумения. Марк Константинович не просто следил за всеми этими

работами или, как нынче принято говорить, «проталкивал» их. Он помогал своим ученикам разрабатывать планы будущих книг, приучал их к современным текстологическим правилам, помогал вырабатывать концепцию вводных статей и научного комментария. Он либо сам выступал редактором этих книг, либо вовлекал в эту работу ведущих сотрудников фольклорного сектора Института русской литературы АН СССР, который он создал и возглавлял (А. М. Астахову, Г. С. Виноградова, А. Н. Лозанову). Позже, я уверен, уже мало кто осознавал, что все эти книги были подготовлены студентами.

Мне приходит в голову единственная аналогия — семинар профессора В. Н. Перетца в Киевском университете в предреволюционные годы. Я говорю не о целой плеяде блестящих ученых, вышедших из этого семинара (В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий и др.), с которой нам трудно состязаться, а об интенсивности публикаций и уровне студенческих работ. Из киевского семинара вышли такие замечательные фольклористические книги, как «Русская сказка. История собирания и изучения» С. В. Савченко, «Заговоры» И. Ф. Познанского и другие, вошедшие в историю русской науки[1]. В послевоенные годы нечто сходное происходило в семинаре Э. В. Померанцевой (сборники «Русский фольклор Башкирии», «Русский фольклор в Татарской АССР», «Русский фольклор Вологодской области»), но, если я не ошибаюсь, студенты в этом случае выступали преимущественно как собиратели, готовили группами отдельные разделы, а не самостоятельно целые сборники. Но, как мы знаем, семинар Э. В. Померанцевой дал тоже целую когорту фольклористов, играющих ныне видную роль в развитии нашей науки.

Редактирование студенческих работ сотрудниками ИРЛИ не было случайностью. Фольклорный сектор ИРЛИ, семинар и кафедра русского фольклора ЛГУ составляли в эти годы единый организм. Дело, разумеется, не просто в том, что сектор и кафедру возглавлял М. К. Азадовский. Он был одним из признанных лидеров тогдашней фольклористики. Его лекции (особенно спецкурсы) привлекали сотрудников ИРЛИ, они были обычными посетителями заседаний кафедры, также, как мы — студенты — ученики Марка Константиновича — заседаний сектора. Сектор шефствовал над фольклорным отделом Карельского научно-исследовательского института культуры, опустевшего после трагических событий 1937—1938 годов. Большинство наших экспедиций работали в Карелии, А. Н. Лозанова

была постоянным сотрудником Карельского института, а старшие из наших студентов ей помогали. А. М. Астахова организовывала все, что касалось экспедиций в Карелию. Все перечисленные выше книги изданы под грифом этого института. После окончания университета А. Д. Соймонов, Г. Н. Парилова, М. М. Михайлов, В. Р. Дмитриченко поехали работать в Петрозаводск (последний в издательство — редактором фольклорных изданий). М. К. Азадовский был участником первого съезда писателей Карелии, превратившейся в союзную республику. Собственно говоря, моя многолетняя работа в Карелии (1947—1961) была прямым продолжением этих связей, установившихся в предвоенные годы.

И еще о кафедре русского фольклора. Она была фольклорным центром Ленинградского университета. На ее заседания приходили и читали доклады професора и преподаватели других кафедр филологического факультета, интересовавшиеся проблемами фольклора (В. М. Жирмунский, М. П. Алексеев, В. Я. Пропп, Г. А. Гуковский, И. И. Толстой, И. М. Тронский, О. М. Фрейденберг, С. Я. Лурье, Д. К. Зеленин и др.). Бывали Н. П. Андреев и П. И. Калецкий, читавшие курсы фольклора в пединституте им. А. И. Герцена. Эти доклады и дискуссии были для нас необычайно важны, они приобщали к высокой филологической культуре, традиционной для Петербургского-Ленинградского университета.

Кажется, М. К. Азадовский стал окончательно считать меня своим учеником после первой экспедиции и первого доклада. Экспедициям придавалось чрезвычайно важное значение. Наш учитель любил повторять: «Понять по-настоящему фольклор может только собиратель его» или: «собиратель и исследователь должны совпадать в одном лице». Мы спрашивали: «А как же А. Н. Веселовский или в наши дни Н. П. Андреев?» (Позже можно было бы спросить: «А как же В. Я. Пропп?») Марк Константинович отвечал: «Если бы они, кроме того, ездили в экспедиции, то были бы еще более значительными учеными!».

Первая моя экспедиция была в южную часть Пудожского района Карелии для записи былин для готовящегося сборника «Былины Пудожского края» и общего изучения репертуара. Это было лето 1938 года. В сентябре, выслушав предварительный рассказ о поездке, Марк Константинович велел мне готовиться к основательному отчету, который я, может быть, буду делать в ИРЛИ. Замысел этот тогда не реализовался (я выступал в ИРЛИ только

после второй поездки), но мне пришлось основательно посидеть, чтобы разобраться в довольно многочисленных записях и экспедиционных заметках.

В 1939 году я провел лето у Ивана Терентьевича Фофанова, записал от него 22 былины и привез множество интересных наблюдений. Дело, конечно, было не в какой-нибудь особенной моей собирательской изощренности, а в самом И. Т. Фофанове — замечательной личности и первоклассном исполнителе былин. О лете, проведенном у него, я уже рассказал в книге «Русские сказители Карелии», поэтому не буду повторяться. Я поехал к И. Т. Фофанову по идее Марка Константиновича, А. М. Астаховой и А. Д. Соймонова, уже работавшего над сборником «Былины Пудожского края». По первым записям от Фофанова (2—3 первые былины записала от него И. И. Ломакина-Лебедева) было видно, что это незаурядный мастер и что он знает гораздо больше. Попытка что-либо записать от него в дни фольклорной конференции в Петрозаводске, куда он был приглашен среди прочих крупнейших исполнителей фольклора для выступления, кончилась неудачей. Поэтому решено было специально командировать меня к нему на месяц для длительного и спокойного домашнего общения. Ежедневные записи и беседы дали много нового. Особенно необычными были записи его рассказов о богатырях, так сказать, вне былин, т. е. его общих представлений о богатырях и, наконец, «тайные» записи его ночных репетиций перед очередной дневной записью. Как я уже рассказывал, И. Т. Фофанов служил в это время сторожем нефтебазы МТС и дежурил по ночам. Мне удалось подслушать, а потом несколько раз записать, как он тренируется, пропевает отдельные отрывки былин, которые я на следующий день должен был записывать. Это помогло понять некоторые особенности его исполнительской манеры и, пожалуй, даже общий механизм запоминания и воспроизведения былин вообще. Возвращаясь из поездки, я мечтал об отдельной статье о Фофанове. Выслушав меня вместе с А. М. Астаховой, Марк Константинович сказал, что в этом году я наверняка буду отчитываться за экспедицию в ИРЛИ и, предваряя мой вопрос о статье, сказал, поглядывая на А. М. Астахову: «Надо начинать работу над книгой — сборником текстов Фофанова с хорошим предисловием и комментариями. Это, голубчик мой, открытие!». Анна Михайловна выразила полное согласие, и мы тут же договорились, что она будет приглядывать за моей работой, а потом редактировать книгу. Марк Константинович был

весел, ласков, он весь светится от удовольствия — кажется, еще один ученик будет «на плаву», превратится из студента в ученого.

Мне хотелось рассказать об этом эпизоде потому, что он очень характерен для Марка Константиновича. Он поставил передо мной задачу, которая превзошла мою мечту, распахнул, в буквальном смысле этого слова, необыкновенно заманчивую перспективу. Я не помню, звучала ли в этот раз его любимая цитата из А. Мицкевича или нет, но это была одна из ситуаций, в которых он любил произносить:

Не по силам цели выбирай,
А по цели силы напрягай.

И дело не в том, удалось или не удалось выполнить этот смелый замысел — никто не мог «запланировать» войну и ее последствия, угадать, как будут складываться послевоенные дела и судьбы. Мне был преподан урок, как надо двигаться вперед, задумывать и строить свою научную биографию.

Припоминаю еще один эпизод, связанный с экспедициями и возвращениями из них, значительно менее приятный для меня. В 1940 году предстояла снова поездка в Пудожский район, продолжение собирания былин для того же сборника—для предполагавшегося и не состоявшегося второго тома. Экспедицию должен был возглавлять А. Д. Соймонов. Незадолго перед нашим отъездом из Петрозаводска пришло сообщение, что можно увеличить число участников и организовать еще один отряд из трех человек. Было решено назначить меня начальником отряда, а мне разрешить набрать еще двух человек по моему выбору (наши отряды всегда формировались с учетом дружеских отношений).

Я стал подбирать участников отряда и, к своему огорчению, убедился в том, что все члены кружка, с которыми мне хотелось бы поехать, уже «разобраны». Я поделился огорчением с моими ближайшими друзьями — студентом моего курса и тоже русистом Ю. М. Агулянским и студенткой германского отделения одним курсом младше нас (она позже стала моей женой) Б. Е. Марголис. Они мне посочувствовали, потом о чем-то пошептались и вдруг объявили мне, что хотели бы со мной поехать. Я не ожидал такого поворота дел и мне показалось это невозможной затеей — они же не фольклористы! Потом меня эта идея начала увлекать, действительно, хорошо бы поехать

с такими друзьями: и они ведь тоже филологи (Ю. М. Агулянский даже слушал и сдал курс русского фольклора), их же можно еще в Ленинграде научить не очень хитрой технике записи, рассказать о методах работы с исполнителями и т. д. и т. п. Перебрал в уме еще раз «свободных» членов кружка и объявил своим друзьям, что готов поговорить о них с М. К. Азадовским и А. Д. Соймоновым. Они встретили мое заявление довольно сурово, но снисходительно. Соймонов был знаком с моими друзьями, а Марк Константинович несколько иронически спросил: «Это что же — та девушка, с который Вы всегда прогуливаетесь по коридору?». Помолчал, а потом сказал: «Ну что же, надеюсь, что Ваш отряд хорошо поработает...» или что-то в этом роде.

Отряд наш работал хорошо, но на пути обратно мы потеряли битком набитый портфель с записями, который был водружен вместе с нашими рюкзаками на телегу. По дороге доски днища разошлись, и портфель соскользнул на дорогу. Я обомлел — мне сразу представились одна за другой несколько пренеприятнейших сцен — как я буду объяснять все это начальнику экспедиции (мы, правда, с ним виделись только-только на Купецком озере и рассказывали ему о своих записях, но он их не читал) как я буду отчитываться и объясняться в Карельском институте и, самое главное, конечно, как я смогу смотреть в глаза Марку Константиновичу. Поверит ли он, что произошла беда и мы вернулись не из увеселительной поездки?

Слава богу, беда пронеслась мимо. Мы все, включая мальчишку, которому было поручено доставить нас к пристани Песчаное, кинулись назад и через несколько километров увидели тетушку, которая несла ребенка. В другой руке у нее был наш портфель, а за юбку цеплялась девочка лет семи-восьми. Они нашли портфель и решили нести его до пристани.

Радость наша была безмерной, но ни о какой благодарности, кроме словесной, она не хотела и знать. В Карелии это было совершенно не принято. Я ее крепко обнял, но и этим она, кажется, была не очень довольна. Она не понимала, как можно было поступить иначе.

Итак, экспедиция закончилась вполне успешно. Мы возвратились в Ленинград, и я засел за сочинение отчета. Отчет должен был быть на заседании кружка; по совету Марка Константиновича я стал готовить статью для студенческого выпуска «Ученых записок филологического факультета ЛГУ», в которой давалось развернутое сопоставление результатов работы экспедиции братьев Соколовых в север-

ную и северо-восточную часть Пудожского района Карелии с результатами нашей экспедиции (мы побывали в этих же местах через десяток лет). Обзорная статья Б. М. и Ю. М. Соколовых «A la recherche des bylines» («В поисках былины») была опубликована в известном французском славистическом журнале «Revue des etudes slaves»[2].

...Если экспедиции уезжали из Ленинграда разом, то Марк Константинович часто приходил проводить нас на вокзал. Это придавало отъезду некоторую торжественность, а всей экспедиции — значительность. Это было событие для каждого студента, для кафедры, для нашего учителя. Во время одного из таких провожаний мои родители познакомились с Марком Константиновичем. Я как сейчас помню этот день. Проводы закончились комическим эпизодом. Мама приготовила нам в дорогу обширнейший сверток с бутербродами. Когда поезд отправился, и провожавшие стали по обычаю махать нам руками, желая счастливого пути, оказалось, что мама машет нам своим свертком. Это заметил Марк Константинович, и поезд и перрон огласились дружеским смехом. Этот эпизод тоже характерен. Марк Константинович не был записным шутником или острословом. Тем более он не позволял себе шутками оживлять лекции, чтобы приобрести успех у студентов. Но он и в лекции, и в разговоры со студентами вносил всегда атмосферу легкости, бодрости, естественного веселья, какой бы серьезный вопрос ни обсуждался. Он любил говорить: «Скучные люди не должны заниматься наукой». Увлеченность, умение восхититься поэтической красотой текста, красотой отысканного факта, красотой стройной концепции — во всем этом и был источник его естественной веселости.

(Г. А. Бялый вспоминал, как встретил Марка Константиновича в один из самых тяжелых для него послевоенных дней, когда порой казалось, что его навсегда вычеркнули из науки, и поразился его сияющей веселости. Оказалось, что Марк Константинович только что посмотрел хороший французский фильм и был объят эстетическим восторгом. Он повторял: «Charmant, просто charmant!».)

Разумеется, студенты и ученики М. К. Азадовского ездили в экспедиции не только в Карелию. И мне довелось участвовать в одной южно-русской экспедиции — на Дон и Донбасс. Я вспоминаю об этом потому, что эта поездка связана была с одним из своеобразнейших предвоенных учеников Марка Константиновича — Иваном Ивановичем Кравченко.

Надо сказать, что студенчество 30-х годов во многом отличалось от современного. Многим, если не большинству, предстояло стать интеллигенцией в первом поколении. Родители не получили образования не потому, что не хотели, а потому, что не могли учиться. Поэтому и они, и их дети всячески стремились получить образование. Сын или дочь с дипломом о высшем образовании были гордостью семьи, родственников, всей деревни. Сами же студенты очень определенно знали, что им надо и хочется учиться, ими владела, если можно так выразиться, «плебейская ярость», «плебейское упорство», жажда знаний. Это задавало тон всему студенчеству — учились напряженно и в охотку.

При такой общей атмосфере среди нас выделялся Иван Иванович Кравченко. Выходец из казачьей семьи, он очень рано должен был добывать хлеб собственным трудом. Был наборщиком в какой-то типографии в Сталинграде, потом, кажется, корректором, и учился заочно. В середине 30-х годов он увлекся донским фольклором — занятия фольклором в те годы вообще стали весьма популярными. Не было журнала или газеты, которые не публиковали бы из номера в номер фольклорные материалы. Постоянно цитировался доклад М. Горького на I съезде писателей. Вышел том «Творчество народов СССР». Областные и центральные издательства издавали фольклорные сборники десятками. Несомненно, что в этом движении (оглядываясь назад, мы теперь это видим) было много наносного, случайного, конъюнктурного. Печатались не только добротные исследования, хорошие грамотные популярные статьи, но и поверхностные, риторические сочинения — дань моде и общественной ситуации. И все же в целом это был период бурного развития фольклористики, ее «серебряный век, если «золотым веком» считать время взлета фольклористики в середине XIX века и в начале его второй половины. Оба периода, кроме многочисленных исследований, оставили целую серию фольклорных сборников, ныне ставших уже классическими (кстати, среди них нужно назвать уже упоминавшиеся сборники Новикова, Соймонова и Париловой, Михайлова).

Качество сборников, издававшихся в областных издательствах, было весьма различным. Добротно собранные и хорошо изданные тут же обращали на себя внимание. О них писали в центральной прессе. И. И. Кравченко в 1935—1937 годах издал два хороших сборника донских песен и один сборник частушек. Почувствовав в нем способного

фольклориста, Марк Константинович предложил ему поступить в аспирантуру кафедры русского фольклора Ленинградского университета.

Марк Константинович был увлечен Иваном Кравченко и всем образом его жизни. Именно он был самым ярким носителем «плебейской ярости», невиданным даже для тогдашнего филологического факультета. Кравченко, глубоко потрясенный количеством книг, обнаруженным им в крупнейших ленинградских библиотеках, на первых порах стал очень разбрасываться. Список работ, который предлагался аспирантам, казался ему ничтожно кратким. Но вот он побывал дома у Марка Константиновича и с восторгом потоптался у стеллажей домашней библиотеки Азадовского — она была действительно обширной. Ему представилось, что он, наконец, обрел цель вполне достижимую: перечитать все книги в библиотеке Марка Константиновича. Марку Константиновичу это тоже показалось увлекательным, хотя и несколько наивным. Он вспоминал рассказ Н. А. Тэффи, героиня которого получала образование по энциклопедии Брокзауза и Эфрона (она уже знала, кто такой Байрон, но не слыхала о Шекспире). Рассказывая о том, какие у Ивана установились отношения с его библиотекой, Азадовский говорил нам не без иронии: «Разве вы умеете читать? Возьмете две-три книжки и читаете неделю. А Кравченко приходит ко мне с веревкой и говорит: «Можно я возьму эту полку?».

Кравченко таков был и в быту. Вернее, никакого быта у него не было. Помню, как во время нашей совместной экспедиции он не расставался с томом Э. Тэйлора «Первобытная культура». Он заменял ему подставку для листов, на которых записывались песни. Когда мы шли из села на хутор и в степи делали десяти-пятнадцатиминутный привал, том Тэйлора немедленно раскрывался, и Кравченко углублялся в чтение. Я шутя говорил, что мы путешествует втроем.

После возвращения в Ленинград я рассказал об этом и о том, как Кравченко пел вместе с исполнителями донские песни. Марк Константинович был очень доволен. Его ученик оправдывал ожидания.

К сожалению, Иван Иванович Кравченко не вернулся с фронта; он очень коротко поработал в фольклористике, не успев достичь зрелости ученого, который в нем угадывался. И все же его донские сборники, статья о фольклоре в творчестве Шолохова, о Джангаре, серия рецензий на самые различные издания, посмертно изданная статья об

украинской несказочной прозе — все это, написанное и изданное за пять предвоенных лет, оставило свой след в нашей фольклористике. Но, вместе с тем, не будем преувеличивать. Его диссертация «Эстетические представления народных певцов и сказителей», написанная как бы в продолжение известного трактата Чернышевского, которую я не успел прочитать перед войной, в послевоенные годы (она хранится в фундаментальной библиотеке ЛГУ) показалась мне работой ученической, хотя и весьма добросовестной. Видимо, за теоретические исследования ему браться было еще рано.

Я вспомнил обо всем этом не только ради памяти И. И. Кравченко — он ее несомненно достоин. Он был одним из самых любимых предвоенных учеников Марка Константиновича и о нем до сих пор, к сожалению, ничего не написано.

История аспирантуры Кравченко мне представляется очень характерной — Марк Константинович не только приглядывался к студентам, но и творил из них своих учеников. Он «нашел» Кравченко в Сталинграде и вовлек его в деятельность своей кафедры и своего семинара.

Этот эпизод может показаться в масштабах деятельности Марка Константиновича не столь значительным. Он был одним из признанных лидеров тогдашней фольклористики: к нему приходили и приезжали десятки фольклористов из всех уголков страны, переписка его была поразительно широка. Кравченко мало известен в этой связи, однако его ученичество у Марка Константиновича, его темперамент были явлениями незаурядными и весьма характерными.

В июне 1941 года мы снова собирались в Карелию. Сдали экзамены и готовили рюкзаки. Были уже куплены билеты до Петрозаводска. Но их пришлось продать — началась война. Все стало тревожным и неопределенным.

Когда экзамены были сданы, я, как «белобилетник», вместе со мне подобными отправился на строительство резервного аэродрома за Сиверскую под деревню Даймище. Однако я пробыл там недолго. В Даймище приехал факультетский комсомольский секретарь Сергей Максимов и предложил некоторым из нас поступить в партизанскую школу, чтобы потом составить студенческий партизанский батальон, который — это нас особенно поразило — должен был действовать на территории Ленинградской области. Так близко был враг!

Короткие недели учебы — и вот мы накануне отправки через фронт. Когда это произойдет, мы, разумеется, не знаем и не должны знать. Нам дали короткий отпуск — всего на пару часов. Я помчался на Витебский вокзал и поездом в Пушкин (Детское Село) проститься с матерью. А потом в Институт русской литературы к Марку Константиновичу. Мы с ним молча посидели на скамье в вестибюле Пушкинского дома. Потом расцеловались (впервые в жизни). Мне надо было уже спешить.

Четыре долгих года Ленинград и все, что с ним было связано, только смутно припоминались. А там в это время шла своя тяжелая жизнь. Началась блокада, обстрелы, бомбежки, потом голод. Марк Константинович не смог сразу же эвакуироваться вместе с другими сотрудниками академических учреждений. Его сын был грудным, а жена Лидия Владимировна была нездорова.

Незадолго до эвакуации моя жена встретила Марка Константиновича и поделилась с ним печальным известием — считалось, что я погиб. Как она мне рассказывала, он не мог удержаться от слез. Дело, конечно, не в какой-то моей особенной ценности. Потеря каждого ученика была для Марка Константиновича трагическим событием. Вспомним посвящение «Истории русской фольклористики», вспомним беспримерную публикацию — «Письма молодых фольклористов»[3], составленную из фронтовых писем учеников, продолжавших свои фольклорные наблюдения в тяжелые годы войны.

В послевоенные годы и уже после кончины Марка Константиновича Л. В. Азадовская, так много сделавшая для публикации работ Марка Константиновича, по той или иной причине не увидевших свет при его жизни, опубликовала письма, написанные во время войны. В одном из них (10 сентября 1942 года) можно прочитать: «...встреча с вами, первыми моими учениками, сыграла роль своеобразного целительного бальзама. Ведь не успели мы с вами даже поближе познакомиться, а уже возник фольклорный кружок, уже появилась первая группа энтузиастов-фольклористов, из которых ведь только одна Лида Лотман несколько отошла, да и то непрестанно возвращается, разрабатывая в своей области близкие темы, а затем ваша экспедиция, бюллетень, поездки в Карелию... Для меня это было больше, чем организационный успех; это было полное излечение, это было полное возвращение веры в себя и в свои силы»[4].

Это письмо совершенно поразительно. Как настоящий учитель, Марк Константинович не только много давал нам,

он видел в своих учениках источник своей силы, веры в науку, возможность осуществления новых замыслов, открытия новой перспективы науки.

Наше общение продолжалось и в послевоенные годы. Радостная встреча после демобилизации, послевоенный семинар, трагические годы, которые за этим последовали, и многое другое — все это достойно подробного рассказа. Надеюсь, что я еще сумею к этому вернуться.

В. А. КОВАЛЕВ

НАСТАВНИК

Мы были молоды и легкомысленны. Каждый из нас, записываясь в семинар знаменитого профессора, собирался взять такую тему, чтобы сильно двинуть вперед науку и, если не потрясти, то, по крайней мере, удивить прогрессивное человечество. Мой приятель, ныне профессор Иркутского университета В. П. Трушкин, примеривался к теме «Тургенев и западноевропейская литература», собираясь провести ряд заманчивых параллелей; «Тургенев и Ауэрбах», «Тургенев и Жорж Санд», «Тургенев и Мопассан».

Я себе наметил тему «Тургенев и русская литература», собираясь начать ее рассмотрение с образов крестьян у Радищева и кончить «Мужиками» Чехова. Такого же грандиозного масштаба были темы, намеченные нашими коллегами по семинару.

Темы же, которые предложил Марк Константинович Азадовский, всех нас явно разочаровали: «Ранние драмы Лермонтова» («Почему не вся его драматургия в целом?» — думали мы); «Фольклорные мотивы в рассказах Мельникова-Печерского» («А почему не в романах? Что за крохоборство?»); «Работа Н. В. Гоголя над повестью «Портрет» («А почему не над всеми «Петербургскими повестями»?») и т. д.

Были темы и по творчеству Тургенева. Но что это за темы? Вот некоторые из них: «Отражение в творчестве Тургенева его пейзажных зарисовок в письмах к графине Ламберт»; «Тургеневские мотивы в прозе Чехова» (в скобках были указаны два рассказа: один — Тургенева, другой — Чехова); «Фольклорные мотивы в «Записках охотника».

Все эти темы нам казались узкими, а последнюю так никто и не взял. «Напрасно не берете! Какую работу можно сделать!» — говорил Марк Константинович. Спра-

ведливость этих слов он доказал собственным примером, написав статью о тургеневском рассказе «Певцы», которая по справедливости считается одной из его лучших работ. Тогда все эти темы казались нам узкими. Однако когда Марк Константинович сказал, что тему «Отражение в творчестве Тургенева его пейзажных зарисовок в письмах к графине Ламберт» он считает слишком широкой и думает, не заменить ли ее такой: «Пейзажные зарисовки Тургенева в его письмах к графине Ламберт», то мы возражать не стали и тут же разобрали темы.

Разумеется, мы очень скоро поняли, что темы эти замечательные. Они замечательны и тем, что по ним нет научно-исследовательских работ, и тем, что позволяют анализировать тексты и стиль произведений, делать сопоставления, что всегда так интересно и увлекательно. Короче говоря, именно работая над этими темами, можно было сказать новое слово, пусть в очень узкой области.

Лед постепенно растаял. Однажды, когда кто-то из студентов воскликнул: «Замечательный у нас семинар!», Марк Константинович спросил: «А что же вы меня так хмуро приняли?» Кто-то тут же самостоятельно ответил: «Нам темы показались элементарными».

Марк Константинович улыбнулся в ответ:

— Уж если вам мои темы показались элементарными, то что бы вы сказали о темах моего учителя профессора Шляпкина. Он однажды приходит к нам и говорит: «Глубокоуважаемые коллеги! Я убежден, что «Горе от ума» написал не Грибоедов. Он эту пьесу выиграл в карты. А подлинный автор вынужден был молчать о своем авторстве. Попробуйте-ка меня разубедить».

Как ни почтительны мы были к своему учителю, но все же поднялся невероятный гам и шум. Шляпкин спокойно и резонно возразил: «В науке ничего нельзя доказать криком. Давайте говорить серьезно. Рукописи комедии нет, есть списки. Грибоедов больше ничего такой же силы не написал. Правда, он умер рано, но рано умер и Пушкин, а сколько он написал в том возрасте, в котором Грибоедов закончил жизнь! Впрочем, все это вы узнаете сами. Итак, ваша задача убедить меня в том, что «Горе от ума» написал именно Грибоедов»,—победоносно закончил Шляпкин и вышел из аудитории.

Вы знаете, какую мы работу провернули! Сколько книг пересмотрели, изучили списки комедии. Помнится, я сопоставлял текст комедии с текстом других произведений Грибоедова: «Замужняя невеста», «Молодые супруги»,—

чтобы найти одинаковые словечки, одинаковые словосочетания, похожие ритмы и метры.

Иными словами, авторство Грибоедова мне хотелось доказать тождеством стиля комедии и других его произведений. Мы бились два занятия, чтобы разубедить Шляпкина. В конце концов он сказал: «Что ж! Большего требовать от вас я не могу. Все аргументы налицо. Какие у вас довольные физиономии! А! То-то. Одно дело — узнать истину из вторых рук: Грибоедов написал комедию «Горе от ума». Другое дело — установить самостоятельно, по первоисточникам ту же истину: Грибоедов написал комедию «Горе от ума». Результат один и тот же. Но разница огромная. Второе доставляет радость. Самое главное в науке — найти проблему и самостоятельно, мобилизуя весь материал и все средства, решить ее».

После этих слов Шляпкина мы поняли, что мы проделали сизифов труд, работу большую, но ненужную.

Однако, разумеется, никто не сожалел. Все мы поднаторели в знании эпохи, в текстологии, в том, что Николай Кирьянович Пиксанов называет «творческая история».

Вот я и стремился дать вам такие темы, чтобы они были посильны для вас, новы по материалу и по проблеме, чтобы по ним не было критических работ (или было бы их мало). Но, конечно, без сизифова труда. Действительно, в науке самое важное поставить новую проблему и самостоятельно, мобилизуя весь материал и все средства методологии, решить ее.

* * *

Памятен вечер в честь А. С. Пушкина, состоявшийся в Иркутском университете весной 1943 года. Режиссером этого вечера был М. К. Азадовский. Вечер готовили долго и тщательно. Он начался с вступительного слова Марка Константиновича, потом были краткие научные сообщения студентов. После перерыва была художественная часть, где пели романсы на стихи Пушкина, читали его стихи и прозу.

Основная идея вечера — пушкинский гуманизм. Она пронизывала и научную, и художественную часть. Историк Ф. А. Кудрявцев, доцент ИГУ, посвятил университетскому пушкинскому вечеру восторженные строки в «Восточно-Сибирской правде».

В этом вечере мне участвовать не пришлось. Но на репетициях я бывал. Хорошо помню, как тщательно готовил

Марк Константинович выступления его участников. В повести «Метель» есть фраза, относящаяся к главной героине: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена». Исполнительницу «Метели» Марк Константинович просил так прочесть эту фразу, чтобы передать ее ироническое звучание. Ей это удалось не сразу. По-разному фраза повторялась исполнительницей несколько раз, но нужный оттенок интонации не был найден. Тогда Марк Константинович сосредоточился и сам произнес пушкинскую фразу. У него она получилась превосходно. Присутствующие зааплодировали.

— Вы артист, Марк Константинович,—с восторгом сказал кто-то.

— Нет,—ответил Азадовский,—скорее режиссер. Это разные профессии. Вы были свидетелями режиссерского показа.

* * *

Памятно и обсуждение постановки чеховских «Трех сестер» Иркутским областным драматическим театром, которое состоялось в конце 1943 года на историко-филологическом факультете ИГУ.

Тогда Марк Константинович сказал: «Сегодня мне вспоминается Московский Художественный театр. В молодости посещал я его часто, чуть ли не все пьесы пересмотрел».

Кто-то с места:

— Марк Константинович, а Вы видели «Братьев Карамазовых» в Художественном театре?

— Видел. Великолепный спектакль! Он шел два вечера. Вероятно, впервые в истории спектаклей Художественного театра был введен чтец, лицо «от автора». Там очень хорош был Леонидов в роли Мити. Но общее впечатление было очень гнетущим. После спектакля жить не хотелось. Иное дело — чеховские спектакли. Они действовали на душу самым возвышенным образом.

Больше всего мне нравились «Три сестры»,—продолжал Азадовский.—Может быть, это вершина чеховской драматургии. В этой пьесе, в противоположность «Дяде Ване», где все мрачно, есть не только мрак, но и ноты бодрости, мотив бури. Хотя и мрачны «Три сестры», но оптимизм как преодоленное страдание в них побеждает. В этой пьесе уже начинаются мотивы «Вишневого сада», в частности в финале сказано о рубке деревьев аллеи. Наш Иркутский театр очень хорошо поступил, что обра-

1611—6

тился к чеховской драматургии, в частности к «Трем сестрам», где существенен мотив: «Надо жить». Это призыв к упорству, к борьбе за жизнь, к преодолению трудностей, что так важно в наше военное время».

Марк Константинович продолжал:

— Постановка рождает новые мысли о Чехове. Я, посмотрев «Трех сестер», подумал об эволюции чеховских образов: деревья, окаймляющие озеро в «Чайке», тема леса и сожаление об уничтожении лесов в «Дяде Ване», намерение Наташи срубить деревья аллеи в «Трех сестрах» и рубка их в «Вишневом саде» (об этом я уже говорил). Тема сада, леса, деревьев, понимаемая как прекрасное проявление живой жизни, которую, к сожалению, уничтожает человек, характерна для творчества Чехова. Было бы плодотворно проследить ее эволюцию. А может быть, чтобы более рельефно раскрыть эту проблему, нужно сопоставить тему леса с освещением ее у других писателей, у Мельникова-Печерского, например.

К сожалению, Марк Константинович не развил этой мысли и перешел к характеристике актерской игры. Охарактеризовав игру актеров, он сказал:

— Смущает меня то, что в последнем акте исполняется марш «Прощание славянки», написанный Агапкиным. Можете считать меня педантом, но хоть этот марш и великолепен, я все же считаю, что его надо заменить другим. В пьесе сказано: «...музыка играет так весело», а в марше — это его основная особенность и самая привлекательная черта — сочетаются грусть и радость. Кроме того, этот марш Агапкин написал в 1912 году, а Чехов свою пьесу — в 1901. «Хронология — око истории»,—утверждал Н. М. Карамзин. Несомненно, культурный зритель сразу же почувствует фальшь.

Конечно, этот промах не так заметен, как если бы ввели, скажем, песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Но все-таки... По-моему, надо взять марш, написанный специально для первой постановки в Художественном театре».

К этой мысли Марк Константинович вернулся и после конца обсуждения. Надевая пальто, он обратился к нам: «Ну зачем они ввели марш Агапкина?» До сих пор я помню выражение его лица при этих словах, особенно помню высоко поднятые брови и недоумевающие глаза.

Надо отдать справедливость театру: вскоре марш Агапкина был заменен.

* * *

Много поучительного содержали беседы Марка Константиновича. Обыкновенно после семинара. Мы оставались на час-на два, и начиналась «игра в оракула», как называл Марк Константинович эти беседы (оракулом был он). Он говорил: «Зачем вы мне задаете столько вопросов? Что я, оракул? У нас какая-то игра в оракула!»

Но, разумеется, отвечал на все вопросы, засиживаясь в университете. Однажды он сказал: «Нет, пощадите! Лидия Владимировна меня ждет к обеду. А я и к ужину не успею!»

— Марк Константинович,—спрашивает кто-нибудь из нас,—а кто выше: Фет или Толстой Алексей Константинович?

— Право, не знаю,—отвечал Азадовский.—Каждый хорош по-своему. В литературе такие вопросы чаще всего ни к чему не ведут. Каждый писатель исключительно своеобразен. Несомненно, Пушкин выше Блока, но несомненно и другое: в каких-то отношениях и Пушкин не заменит Блока.

* * *

Особенно интересны были рассказы Марка Константиновича об ученых, почти всегда связанные с его размышлениями о нашей науке.

Хочется восстановить одну из таких бесед, имевшую большое значение в моей жизни. Речь шла о профессоре, ныне академике Михаиле Павловиче Алексееве. Марк Константинович сказал:

— О Михаиле Павловиче я всегда говорю в тоне высокого уважения. Это замечательный ученый. Его знания безграничны в буквальном смысле этого слова. Он знает литературу всех стран.

Для памяти Михаила Павловича не существовало дней,—продолжал Азадовский.—То, что было 30 лет назад, он помнил, так хорошо, как будто это произошло сегодня.

Однажды я сказал все это самому Михаилу Павловичу. Мы тогда совместно редактировали в Иркутске один журнал. Вы знаете, что он ответил? «Марк Константинович, не убивайте. Вы отметили порок, который был у меня с детства: любопытство к книгам, какая-то всеядность в этом отношении. Я любил все книги... Конечно, больше всего я любил беллетристику... Так вот: в один прекрасный день я понял, что это надо как-то системати-

зировать. И я стал, как Вы говорите, ученым, а на самом деле — рядовым библиографом».

— Разумеется,—добавил Марк Константинович,—дело не в любопытстве, а в любознательности; Михаил Павлович не просто библиограф высокой квалификации — это выдающийся ученый. В его словах важно другое: библиография — важнейшая дисциплина. Ученый только в какой-то узкой области знает все, в других областях он должен знать, где что лежит. И здесь библиография, могучее средство познания и ориентировки, незаменима. Тот, кто владеет библиографией, идет в науке как бы с фонарем. Этот фонарь, пусть не всегда ярко, но светит.

Эти слова как-то запали мне в душу, и полную справедливость их подтвердила сама жизнь.

* * *

Интересны и глубоко поучительны были рассказы Марка Константиновича о братьях Соколовых.

— Вот люди, которыми не устаешь восхищаться. Это смелые новаторы в науке. Особенно хороши они были в молодости. Как-то однажды А. П. Чехов говорил И. А. Бунину: «В работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие собаки не должны смущаться существованием больших; все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой господь Бог дал». Это прямо относится к молодым братьям Соколовым. Их не смущало существование «больших собак» в науке. Любой авторитет им был не страшен. Они были очень своеобразны и смело прокладывали в науке свои пути.

Смелые в науке, они были озорными в жизни. Они были похожи как две капли воды. Их все постоянно путали. Я много имел с ними дела и научился различать. Но далеко не сразу. Они к тому же провоцировали эту путаницу. Шили одинаковые костюмы, носили одинаковую прическу. Идешь и держишь правой рукой Бориса, левой— Юрия. Вдруг они вырываются и несколько раз меняются местами. Затем идут как ни в чем не бывало. И тогда не знаешь, к кому обращаешься: где Юрий, где Борис. Нельзя было доставить им большее удовольствие, чем, обратившись к одному из них: «Борис Матвеевич!», получить ответ: «Извините, Юрий Матвеевич!» И наоборот, обратившись «Юрий Матвеевич!», услышать: «Извините, Борис Матвеевич!».

Они оба занимались репетиторством и свободно заменяли друг друга, причем их мистификация так ни разу и

не была обнаружена. Рассказывают (это, скорее всего, анекдот, но вполне в духе этих озорных братьев), что однажды один из них должен был пойти на свидание, но неожиданно получил лестное приглашение выступить с рефератом в каком-то научном обществе вместо заболевшего докладчика. Отказаться от этого предложения нельзя было, отменить свидание было уже поздно. Тогда на свидание пошел брат с напутствием: «Веди в умеренных тонах!».

Кончилось все вполне благополучно; только девушка была не совсем довольна: в конце свидания она сказала: «Ты сегодня какой-то робкий, даже ни разу не поцеловал».

* * *

Надо сказать, что, высоко оценивая своих коллег, о себе Марк Константинович говорил иронически:

— Читать лекции — трудное искусство. Хочешь добиться одного, а получается совсем другое. Когда я получил звание профессора и читал первую лекцию в Чите, то решил показать товар лицом. Я кончил так: «В моей лекции больше сомнений, чем решений, больше поставлено проблем, чем дано ответов. Я, может быть, слишком расширил границы своей темы и все еще не исчерпал вопроса. Но в том-то и прелесть научного исследования, что ему не видно конца». Упоенный собственным красноречием, кончив, я прошел в профессорскую. За мной вошла ныне покойная первая жена. «Что? Недурно!! — говорил я, пощелкивая пальцами.— Профессора плохо не читают. Концовка-то какова?» Жена ответила: «Может, и недурно, только мой сосед, не зная, разумеется, кто я, сказал: «Хорош профессор: в первой же лекции признается, что ничего не знает!» Вот уж воистину: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».

Когда Марку Константиновичу кто-то сказал: «Марк Константинович, а Вы—король русских фольклористов», он ответил: «Ну нет, пока жив П. Г. Богатырев, я только принц. Кстати, принцем быть лучше: принцы моложе королей».

И еще:

— Я создан для малых тем,— говорил Азадовский.— Мне бы бегать в науке на короткие дистанции. Я спринтер. Но обстоятельства складываются так, что приходится бегать на длинные. И тогда я подбадриваю себя стихами из Мицкевича:

Не по силам цели выбирай,
А по цели силы напрягай.

* * *

Все эти рассказы Марка Константиновича я привожу для иллюстраций одной мысли: своеобразие педагогического искусства Азадовского заключалось в том, что он был, на мой взгляд, педагог-писатель. Его отточенные афоризмы подкреплялись живыми примерами из жизни, из истории науки. Его мысли усиливались художественными картинами, его картины были подчеркнуты мыслью. Все это оставляло неизгладимое впечатление. Поэтому так легко вспоминаются мысли и афоризмы Марка Константиновича. Вот некоторые из них.

«В фольклористике в одном лице сочетаются собиратель и исследователь».

«Правильная постановка вопроса влечет за собой правильное решение».

«Смотри библиографию, в этом корень».

«У фольклориста нет памяти,—говорил мой коллега Григорий Виноградов,— у него есть карандаш и записная книжка».

«В библиотеке все надо делать самому, ничего не поручая сотрудникам, тогда чему-то научишься».

«Студент на диване с серьезной книгой — безобразнейшее зрелище».

«Чем больше знает ученый, тем он осторожнее в выводах».

* * *

Трудно вспоминать о последних годах жизни Марка Константиновича.

В 1949 году он вынужден был перейти на пенсию: всю жизнь занимавшийся русским фольклором, Марк Константинович был облыжно обвинен в космополитизме. «Культ личности» коснулся и его.

В этот тяжелый период Марк Константинович не потерял присутствия духа, свойственного ему оптимизма и чувства юмора.

— Вот, Славочка,—говорил он мне,—посмотрите на этот оттиск. Это подарок молодого ученого. Видите, здесь написано: «Глубокоуважаемому Марку Константиновичу Азадовскому — ученому-новатору» (далее в скобках перечислены работы, где я новатор). Это было в 1938 году. А вот что тот же человек пишет в газете обо мне теперь: оказывается, я реакционер и даже мракобес в фольклористике. Можно подумать, что я эволюционировал. Но

дело-то в том, что в статье он перечисляет те же работы, в которых я был, по его мнению, новатором. Где же тут логика?

Впрочем, то, что я реакционер и мракобес в фольклористике — это звучит неплохо, представляется какая-то крупная фигура. Это звучит как дьявол русской фольклористики.

Мою дьявольскую силу я сейчас испытываю ежедневно. Когда я иду по Невскому, то некоторые знакомые переходят на другую сторону улицы.

Помнится, я что-то сказал о малодушии этих людей.

Тогда Марк Константинович горячо возразил:

— Нет, Слава, так нельзя. Это не трусость, это деликатность. Вы войдите в их положение. Это же трудный психологический этюд. Как им разговаривать со мной? Не утешать же. Да и мне с ними трудно разговаривать. Нет, это совсем не просто — такие встречи.

О людях не надо думать плохо, Слава! Я все-таки уверен, что рано или поздно правда восторжествует. «Клевета — это поджог доброго имени»,—говорил Кони. Но где есть пожар, там есть и пожарные. Только приезжают они иногда с некоторым опозданием...

* * *

В пьесе А. П. Чехова «Три сестры», которую так любил Марк Константинович, сказано: «Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе».

Мне думается, что эти слова можно отнести и к Марку Константиновичу. Его уже нет среди нас. С ним нельзя поговорить, увидеть его улыбку, улыбку человека, который умел понимать все. Однако есть его труды, выходят его книги, вышел в свет монументальный труд, дело его жизни — «История русской фольклористики», некоторые другие его работы. Все мы, читая исследования Марка Константиновича, продолжаем у него учиться, вспоминаем об учителе с радостью и благодарностью.

В. П. ТРУШКИН

ВСЕГДА ЖИВЕТ В МОЕМ СОЗНАНИИ И СЕРДЦЕ

Марк Константинович Азадовский. Это имя для меня свято. Крупнейший ученый — фольклорист, литературовед, краевед, библиограф — он всегда живет в моем сознании и сердце.

Впервые я увидел Марка Константиновича весной 1942 года, когда он, изможденный, с женой и сыном приехал в Иркутск из блокадного Ленинграда. В Иркутском университете, где я тогда учился, он читал курсы лекций по истории русской фольклористики, русской литературы XIX века, о декабристах, о литературе пушкинской поры. Это был человек, который притягивал к себе, всегда жил новыми идеями, начинаниями. Его кипучая энергия восхищала нас. Достаточно сказать, что в трудный 1943 год он организовал в Иркутске научную конференцию фольклористов и сказителей Сибири. При Иркутском университете он создал научное общество истории, литературы, языка и этнографии, которым и руководил. Работа общества внесла новую свежую струю в научную жизнь Сибири. На заседаниях читались доклады и рефераты по самым различным проблемам гуманитарных наук. Выступали и маститые ученые, и те, кто делал в науке первые шаги. Многие студенты посещали эти заседания.

Он был прост и доступен в общении, умел увлечь студентов, на его занятиях не было равнодушных. Например, о пушкинской эпохе Марк Константинович рассказывал так просто и свободно, словно сам был участником тех событий.

Мы, студенты, любили провожать его после занятий домой. По дороге он много рассуждал и говорил о литературе. Если начинал говорить о поэте Языкове, то возникал целый круг имен, окружавших Языкова. Часто он вспоминал своих учителей, своих учеников.

Марк Константинович был увлеченным человеком, а его умение привить студентам вкус к филологической дисциплине — это драгоценное качество и как человека, и как ученого. Он обладал редчайшим даром пробуждать в своих слушателях не просто интерес к литературе и фольклору, а пытливость, вкус к самостоятельной работе, исподволь помогал сформироваться у них таланту исследователя. Как это практически делалось? На лекциях и семинарских занятиях он, например, акцентировал особое внимание на текстологии, на важности выбора издания и текста, с которым придется работать, на умении читать и интерпретировать текст. Он приводил такие, скажем, примеры. Один из декабристов писал своему адресату: собираемся, говорим о вещах общественных. О чем же они говорили? Оказывается, говорили о республике, ибо латинское «республика» в дословном переводе и значит — вещь общественная.

В другой раз он привел цитату из письма Пушкина в от-

вет на замечания, что он, Пушкин, в «Онегине» написал сатиру. Помилуйте, ответил Пушкин, где же тут сатира. Если бы я обратился к сатире, то затрещала бы Невская набережная. Марк Константинович комментировал: значит, затрещал бы Зимний дворец.

До сих пор помню его текстологические примеры из изданий и рукописей Пушкина. Скажем, в «Скупом рыцаре» долгие годы печаталась фраза: «Твои деньги пахнут адом». А при внимательном прочтении рукописи оказалось не «адом», а «ядом». То же самое в «Домике в Коломне» замечание об одном из стихотворных размеров долгое время печаталось: «У нас его недавно стали знать», а надо было не «знать», а «гнать», так как этот размер давно был известен в России.

В 1943 году в семинаре М. К. Азадовского я сделал доклад о поэзии молодого Ф. И. Тютчева и у него же на четвертом курсе взял тему для дипломной работы: «Эстетические взгляды И. С. Тургенева». Марк Константинович сам помогал мне в библиографических разысканиях по избранной теме. Помню, он принес мне обширный список первых публикаций писем Тургенева в старой русской периодике.

Летом 1945 года по окончании университета я написал Марку Константиновичу письмо с просьбой принять меня в аспирантуру при ЛГУ. Он живо откликнулся, ждал меня в Ленинграде. Однако обстоятельства сложились так, что осуществить это намерение мне не удалось, о чем я жалею и поныне.

* * *

В 1967 году в Иркутске я выпустил книгу «Литературная Сибирь первых лет революции» с посвящением незабвенной памяти моего учителя. В юбилейном сборнике «Иркутский университет — крупнейший учебно-методический и научный центр Восточной Сибири» (Иркутск, 1979. С. 138) я написал о Марке Константиновиче следующее: «Особенно большую роль в моей судьбе исследователя-литературоведа сыграл Марк Константинович Азадовский. Именно на его лекциях и семинарах я впервые почувствовал вкус к научной работе, научился разрозненные явления и факты ставить в определенный историко-литературный ряд, постигать их закономерность. Он вводил нас, тогдашних зеленых юнцов, в лабораторию научно-исследовательской мысли, мысли пытливой, ищущей, вопрошающей, приобщал к азам науки, учил самостоятельно мыслить, анализировать,

ставить вопросы и посильно отвечать на них, ибо в науке, как любил он нам говорить, часто бывает более важно поставить проблему, нежели решить ее. И все, что позднее было сделано мною как исследователем, воспринимается теперь в моем сознании как продолжение традиций и заветов незабвенной памяти учителя».

Л. В. ЧЕРНЫХ

АЗАДОВСКИЙ И СТУДЕНТЫ В ИРКУТСКЕ

Эти заметки следовало озаглавить: «Азадовский в моей жизни», так как Марк Константинович не раз решал мою судьбу. Но сколько бы я ни думала о нем, облик Азадовского — ученого, педагога, человека — неизменно предстает не изолированно, а в окружении: среди людей разных возрастов, профессий, жизненных интересов.

Недавно мне довелось обратиться к сборнику статей, посвященному памяти Азадовского. Книга раскрылась на странице с фотографией во весь лист. Опершись на палочку, Марк Константинович сидит в своей обычной, непринужденно-спокойной позе. Рядом с ним писатели, ученые, и невольно подумалось, что столь же доступен и близок он был студентам первого курса.

Вспоминается студенческая жизнь в начале военного лихолетья, похлебка с галушками из отрубей в студенческой столовой, жизнь, огражденная стенами фундаментальной библиотеки и университета, сосредоточенная на «пятачке» возле городского сада, возле Ангары, по которой от одного берега к другому, пыхтя, курсировал теплоходик, похожий на примус. На фоне этого пейзажа я впервые увидела Марка Константиновича Азадовского.

О его приезде нам поведал А. В. Гуревич, уже прочитавший курс фольклора на вновь открытом филологическом факультете. Под его началом мы пропагандировали фольклор на предприятиях города и в деревне, сочетая это занятие с собирательской работой, а также посещали госпитали с фольклорным монтажом. Как о событии большого значения он говорил о приезде Азадовского, отзываясь о нем с почтением, хотя и сдержанно. Приобщившиеся к фольклору, мы тоже по-своему ожидали прибытия ученого.

В то тяжелое для страны время нам, жившим в глубоком тылу, везло на учителей-наставников: на тринадцать студентов первого курса — обилие профессорских сил. Впрочем,

объектом преклонения, нашим кумиром была О. И. Ильинская — чуть постарше нас, единственный специалист по зарубежной литературе. За ее спиной почти всегда торчал рюкзак с книгами, что, по слухам, почему-то очень смущало факультетское начальство; после лекций мы следовали за ней табуном, провожая на вокзал, так как она жила далеко за городом.

С Марком Константиновичем мы познакомились уже после того, как узнали интересных, талантливых людей и выдающихся ученых. Один из античников, М. С. Альтман, читал лекции очень эффектно. Другой античник, С. Я. Лурье, тоже завораживал нас на своих лекциях, читал очень просто, с милой скороговорочкой.

К моменту приезда Азадовского наша жизнь была наполнена аудиторными занятиями, общественной работой, усиленным чтением в библиотеке, и тем не менее его приход, если не все перевернул, то расставил по местам. Как бы сцементировав все лучшее, что уже сложилось, он значительно расширил и углубил круг наших интересов.

В самом начале маститый ученый показался мне немного загадочным, во всяком случае, не таким, каким я его представляла. Горькая складка у рта, задумчивый взгляд, неторопливая походка человека невысокого роста с палочкой создавали впечатление скорее отрешенности, чем болезненности (уже в то время он часто болел). Надо было знать, по какой причине он на все так взирал. Вырвавшись из осажденного Ленинграда с только что родившимся сыном и женой, он очутился в городе, где с юных лет ему были знакомы не только улицы, дома, но и камни мостовой. Словом, первое мое впечатление было неожиданным.

Вскоре каким-то образом мы по очереди перебывали в преподавательском доме, где поселился Марк Константинович и восприняли его в особом свете, исходившем от Лидии Владимировны. И теперь ее былая красота ассоциируется с образами античных богинь, о которых мы тогда наслышались, хотя приехала она из Ленинграда бледная, как восковая свеча.

В домашней обстановке Азадовские были очень просты, общительны; в наших студенческих буднях быстро наметился новый короткий маршрут: от «фундаменталки» до квартиры профессора.

Что же существенно нового внес Азадовский в жизнь провинциальных студентов? Так много, что всего не упомянуть. Организовался фольклорный кружок (по сути — семинар), мы стали посещать научные конференции, засе-

дания Географического общества, творческий кружок под руководством автора повести «Грач — птица весенняя» С. Д. Мстиславского, функционировавший опять-таки благодаря инициативе Марка Константиновича. После внезапной смерти Мстиславского, которая многих из нас, иркутян, глубоко опечалила, стали протягиваться нити к писателям: одних тянуло к поэтам, других к прозаикам; Азадовский отдавал должное и тем и другим, поощряя наши энтузиазм и рвение.

Он настоятельно рекомендовал нам повышать свой культурный уровень, посещая театр, концерты или просто слушая музыку по радио. Хорошо помню, что моя любовь к симфонической музыке началась с того момента, когда однажды, не поскупясь временем, я внимательно прослушала по радио 5-ю симфонию Чайковского с пояснением музыковеда. Вняв совету Марка Константиновича, мы чуть ли не всем курсом стали бегать на концерты киевских мастеров, эвакуированных в Иркутск.

Он знакомил нас с людьми, способными обогащать своими знаниями. Вот один пример. В Иркутске тогда жила искусствовед Н. И. Удимова; она могла без конца вдохновенно говорить о достопримечательностях Ленинграда и его музеев. Она прочитала нам не одну, а, помнится, цикл лекций, технически оснащенных, глубоко содержательных, блестящих по форме. Кстати, Нина Иллиодоровна, не имевшая отношения к фольклористике, была ученицей Азадовского (об этом я слышала сначала от нее, а потом и от него самого), что опять-таки свидетельствует о широте интересов ученого-фольклориста.

Знакомил нас Марк Константинович и с фольклористами, и с литературоведами. Когда у студентки нашего курса Ларисы Салтыковой возник серьезный интерес к народному театру, он адресовал ее, если не ошибаюсь, к Вере Юрьевне Крупянской. Меня он прочно связал с Ириной Михайловной Колесницкой. Позднее, в Ленинграде, он не только меня, но и других иркутян познакомил с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, с которым мы однажды посетили Литераторские мостики на Волковом кладбище. Наверное, можно было бы привести много примеров того, как в сфере влияния М. К. Азадовского образовывались все новые связи, научные контакты.

Марку Константиновичу была присуща исключительная прозорливость, он, как говорится, видел нас насквозь не только во время аудиторных занятий. Освоившись, после лекций мы стали сопровождать его, как О. И. Ильин-

скую, стайками. Как сейчас помню душный день перед дождем, когда слетает пух с тополей, вьется и щекочет лицо. Студентка И. Ломако шла поодаль, прислушиваясь, и легким движением загорелой руки ловила пушинку за пушинкой. Марк Константинович вдруг остановился и, глядя на нее, сказал: «Вот вы какая». Он подметил ее необыкновенную жизнерадостность. Ответная улыбка сияла на ее лице, и действительно можно было подумать, что Ирина никогда не унывала, хотя все знали, что ей одной, без родных жилось тяжко. Удивительно, до какой степени Азадовские были осведомлены о жизни каждого из нас. Прошло немного времени, и мы узнавали от них новости друг о друге. И так продолжалось до конца их дней.

Умел Марк Константинович «раскусить орешек» и покрепче, каким была Ильинская. Как-то мы провожали его домой вдвоем с Алей Тойер, которую Марк Константинович выделял как очень способную студентку. Речь зашла о диссертациях и, кстати, об Ольге Игоревне. Вдруг он сказал, что, к сожалению, она никогда не напишет диссертацию, несмотря на свои эрудицию и творческие данные. Мы очень удивились и не хотели с ним согласиться. Неизвестно, что его склоняло к такому выводу, однако он предсказал ее будущее. Может быть, причиной, или одной из причин, явилась щедрость, с которой она устремлялась помогать другим, забывая о себе. Недавно Ольга Игоревна умерла, так и не «остепенившись». Без ученой степени ей было присвоено звание доцента во ВГИКе, где она, вернувшись из Иркутска в Москву, проработала до конца жизни. Марка Константиновича, постигшего студенческую психологию, даже трогало наше благоговейное к ней отношение.

При всем разнообразии интересов, при всей широте взглядов Азадовский был в первую голову ученым-исследователем, и это сказывалось во всем, в частности, в такой форме работы со студентами, как лекция.

Будучи студенткой, я слушала его лекции по русской литературе XIX века. Они были уникальны: лектор целеустремленно вел слушателей тернистым путем самостоятельного исследования, поисковой работы. Его лекции давали ясное представление о движении научной мысли, борьбе мнений. На конкретных примерах лектор как бы воскрешал былые споры, виртуозно демонстрируя дискуссионный материал, показывал и обнажал самый процесс рождения истины. При этом он рисовал выразительные портреты, индивидуальности ученых, среди которых были

его коллеги (незабываемы его рассказы о братьях Б. М. и Ю. М. Соколовых и других), его учителя и ученики. О многих Марк Константинович не мог говорить без волнения. Без слез в глазах и в голосе он не мог произнести имен своих учеников, погибших на фронте.

В отличие от Эйхенбаума, Азадовский придавал большое значение лекции как ведущей форме вузовской работы. В промежутке между занятиями он однажды поведал нам о том, как трудно построить курс, проводя стержневую линию, отбирая самый необходимый материал, о том, что лекция должна быть концептуальной. И вместе с тем его лекции содержали разнообразный фактический материал. После окончания университета, работая на радио, Людмила Шерешкова говорила мне о том, сколь необходимы были ей конспекты лекций Азадовского. Через меня она не раз выражала ему свою признательность.

Каким-то чудом Марк Константинович умел приблизить новичка в науке к маститому ученому. Обладая индивидуальным подходом к человеку, он предпочитал беседы в узком кругу на полном научном серьезе. В большой же переполненной аудитории он проигрывал как лектор. Мне довелось слушать его лекции по фольклору в ЛГУ, когда его уже сковывал тяжелый недуг; пришлось с болью видеть, как неискушенные студенты-новички отвлекались, как лектор был огорчен их невниманием. Зато всегда и всюду с исключительным эффектом он вел семинары.

Семинары Азадовского были серьезной, суровой школой, формировавшей характер фольклориста, литературоведа, историка. В день семинара Марк Константинович преображался: перед началом подшучивал над докладчиком, как бы волнуясь вместе с ним; во время занятия слетала с его лица дымка задумчивости, сказывались темперамент, задор. Энергичным жестом он то снимал, то снова надевал пенсне, беспрерывно что-то записывая, внимательно слушая «именинника», поглядывая на него, как бы изучая. Это был настоящий праздник, «пиршество».

На семинарах Азадовского соблюдался обычный порядок: доклад студента или аспиранта (в ЛГУ объединялись они по изучаемым проблемам), вопросы, ответы, выступления оппонентов, заключения преподавателя. Руководитель не давал возможности «отсидеться», и возникавшие споры были сами по себе захватывающими. Слова одобрения, поощрительные жесты относились в основном к «неофициальным» оппонентам, то есть ко всем участникам. И вследствие повышенной активности занятия не походили в точ-

ности друг на друга. Самое увлекательное и веское заключительное слово руководителя: его обобщения были глубоко продуманы, композиционно оформлены, в них имелись завязка, кульминация, развязка почти драматические. Вспоминаю, как я однажды «плакала в жилетку» Лидии Владимировне (ее выражение); семинар после прогулки как бы переносился на дом. Она, как обычно, тихо, заразительно смеялась. Правда, это было уже в Ленинграде, в мои аспирантские годы, когда «разносы» ужесточились: студентов младших курсов «шеф», по-видимому, все-таки более щадил.

Будучи студенткой второго, если не первого курса, я получила тему «Г. Успенский и фольклор», Запомнились в основном одобрения, похвала работе. Последняя и определила мою судьбу, хотя я до сих пор не знаю, чем она так понравилась Марку Константиновичу. В ней, кажется, не было глубоких обобщений, науки в собственном смысле слова. Были проштудированы все тома сочинений Глеба Успенского, и это внимание к тексту, по-видимому, подкупило руководителя. Что касается выводов, то Марк Константинович их стремился не подсказывать, чтобы со временем ты до всего докапывался сам. Смеясь, он говорил, что у него такой «метод» работы со студентом: окунуть с головой в воду, оттолкнуть от берега, если он вынырнет, пусть плывет, а коли утонет,—туда ему и дорога.

Методика Азадовского в его работе со студентами всегда способствовала развитию самостоятельности. Не помню случая, чтобы он настаивал на своем, навязывал что-то, если даже не соглашался по какому-либо вопросу. Более того, он разжигал споры, требуя аргументов, обоснования точки зрения. Он защищал и право на гипотезу.

Хочу сказать о том, что меня более всего привлекало в Азадовском как руководителе,—это его интерес и внимание к тексту, к художественной ткани произведения. Нельзя не отметить то, что он бесконечно далек от формализма, субъективных домыслов; в его методологии был особо ощутим и понятен мне, как новичку в исследовательской работе, принцип историзма. На предложенной мне теме я получила возможность понять и оценить величайшее значение критики революционных демократов. Особое пристрастие он имел к Добролюбову, по-новому, как мне кажется, объяснял причины противоречивости во взглядах на фольклор Белинского, Чернышевского, рассматривая воззрения революционных демократов в развитии, не приемля догм.

Изучение фольклорных и литературных взаимодействий было одной из магистральных линий в исследованиях Азадовского, и хотя я не знала еще его работ по проблеме «литература и фольклор», суть дела постигалась в семинаре и на лекциях.

Насколько не чужды были ему — фольклористу — литературные темы, доказывает то, например, что он как-то стихийно становился неофициальным руководителем ряда соискателей ученых степеней по проблемам литературоведения. Так, он поддержал, можно сказать, вытянул из тины сомнений Л. А. Лебедеву, защитившую диссертацию по творчеству декабристов. Примечательно то, что в Иркутске, на кафедре литературы, она была лаборанткой, правда, по мысли Азадовского, идеальной лаборанткой: не девочка на побегушках, не канцелярская мышка.

И вот я подхожу к тому решающему моменту, когда определялась моя судьба. Будучи студенткой первого курса филологического факультета, я не мечтала о научной работе, имела не вполне ясное представление о литературоведении и тем более о фольклористике как науке. Определенной была лишь перспектива преподавания литературы в школе, которая не казалась мне тогда заманчивой. Словом, не буду кривить душой и прямо скажу, что мало отличалась от тех первокурсников, которые не вполне сознают, зачем они поступают на филологический факультет. Аргумент по сей день выдвигается один: «Люблю литературу». Это не значит, что у меня не было никаких планов. Было твердое намерение писать, но я полагала, что для обеспечения независимости, необходимой для творчества, писателю следует овладеть каким-либо ремеслом; ему, жившему, так сказать, в «миру», лучше всего наблюдать окружающее незаметно для других.

Хотя я не посвящала Марка Константиновича в свои планы, его суждения на этот счет неожиданно совпали с моими мыслями, с моей мечтой приобрести специальность и одновременно навыки художественного творчества (образцом, пусть и недосягаемым, служил Чехов — писатель и врач).

Война застала меня между первым и вторым курсами Московского строительного института, пришлось его оставить. В самом начале июля студенты сели в эшелоны и направились в прифронтовую полосу. На местах сооружения противотанковых рвов нас не раз обстреливали с самолетов, а гул орудий стал раздаваться совсем близко, нас вернули в Москву и распустили по домам. Вот так и

появился очерк, как мне казалось, о «войне». В нем было благоуханное цветение лип и трав, красота земли и зловещий гул орудий, насилие над мирной жизнью людей, противопоставление войны и природы (с оглядкой на Лермонтова, Гаршина, Л. Толстого и других).

Многие из нас уже сблизились с Азадовским как с наставником. Скрыть «событие» от него я не могла и поведала о том, что Г. М. Марков, бывший тогда в Иркутске, счел возможным напечатать этот мой первый очерк. Марк Константинович вызвался его прочитать и, познакомившись, дал мне совет, который я приняла безоговорочно: «Я советую вам начать печататься тогда, когда будет уже кое-что написанное, не один рассказик». Такова была его мысль. Не помню, в тот момент или позднее он предложил мне план подготовки в аспирантуру.

Разговор, о котором я упомянула, затянулся. Предметом его была не наука, а литература, художественное творчество. Марк Константинович заговорил о его специфике. Это тоже было весьма неожиданно, но я хорошо его поняла, потому что меня это страшно интересовало. Он говорил о том, как надо писать: как, например, можно нешаблонно передать волнение человека, как много способна таить в себе удачно найденная деталь. В те времена проблема специфики литературы не стала еще столь актуальной, как впоследствии.

Из других бесед осели в памяти его мысли о литературно-фольклорных связях. Кажется, я тогда понимала его суждения не как мысль о прямых контактах, заимствовании, влиянии и т. п. Во всяком случае, возникало общее представление о сложных ассоциативно-художественных процессах. Позднее убедилась в наличии явлений, поразительных по внешнему и внутреннему сходству, и те давние уроки Марка Константиновича давали смелость анализа разнообразных аналогий и параллелей, имевших под собой, как правило, глубокую историко-культурную основу.

Следует упомянуть и о той «отдаче», которую, по мысли Азадовского, представляет собой экзамен (студенческий или аспирантский — не суть важно). Не помню, чтобы сдавала ему экзамен в Иркутске: возможно, вместо него, по причине его болезни, принимал кто-нибудь другой. Но по ленинградским впечатлениям знаю, что Марк Константинович не относил экзамен к числу формальностей. Он требовал знания фактов. Однако повторение известного — азбучный уровень. Незнание минимума фактического

материала равнозначно отсутствию элементарной грамотности. Суть экзамена для Азадовского заключалась не в парадной демонстрации затверженных положений, а в творческом собеседовании на уровне самостоятельного осмысления материала.

В связи с этим вспоминаются вступительные экзамены в аспирантуру ЛГУ, начавшиеся для меня весьма неудачно. Упав духом, я уже было хотела вернуться в среднюю школу, где проработала год. Но Марк Константинович настоял, чтобы я продолжала сдавать. На экзамене по специальности присутствовал П. Н. Берков, заведовавший тогда отделом аспирантуры. Слушая ответ, он перелистывал мой реферат на тему «Г. Успенский и фольклор», и вдруг задал «каверзный», как мне показалось, вопрос: чем это привлек меня Успенский — такой, по мнению студентов, скучный писатель? Марк Константинович бросил на него недоуменный взгляд, а я кинулась защищать Успенского не только как замечательного, способного автора очерков о народе, но и как художника слова, в чем ему подчас отказывала современная ему критика. Мой научный руководитель, как и я, не сразу почувствовал подвох, таким серьезным тоном был задан вопрос, но вскоре он улыбнулся и одобрительно закивал головой. Не знаю, в какой мере мой ответ удовлетворил экзаменаторов, однако несомненно, что он решил дело.

И еще об одном экзамене, уже в аспирантуре. Глубокое уважение к В. Я. Проппу удесятеряло мой страх. Чуткий и вместе с тем беспощадный в своих требованиях руководитель на ходу создал «комиссию». Растерявшись, я все не знала, как начать. Мое ощущение идущего ко дну достигло апогея, когда вдруг вошел Г. А. Гуковский и подсел, не заметив, что это экзамен, однако, смекнув, в чем дело, он «подбросил» мне вопрос, и, ухватившись за него, я выплыла в «теплые слои» литературного материала. Экзамен обрел форму семинарского доклада, продолжался необычайно долго. Марк Константинович остался доволен.

В моей памяти он часто является как бы сквозь призму восприятия дорогих мне людей. Когда речь зашла об аспирантуре, я решила посоветоваться с Ольгой Игоревной Ильинской, так как боялась замкнуться в узкоспециальном вопросе, изучая фольклор. Она рассеяла мои сомнения, сказав, что такой руководитель даст возможность заниматься не только фольклором в широком аспекте, но и литературой. Ильинская ценила в Азадовском «поэтическую струну», знатока многих поэтов, природы стиха. Он действи-

тельно любил «поэтическое», умел постигать процесс художественного творчества, и не удивительно, что в ряду художников, им облюбованных, был Г. Успенский.

На одной из лекций о Пушкине, распутывая клубок противоречивых суждений о «Стансах», «Друзьям» и других стихотворениях, он комментировал рукописи, репродукции автографов, не только демонстрируя титанический труд поэта, но и уточняя смысл произведения, вызвавшего полемику.

Вдруг вспомнилось мне, с каким чувством воспринял он стихи Ольги Берггольц военных лет, как проникновенно читал их не по изданиям, а по каким-то бумажкам, возможно,— по письмам из Ленинграда. Но дело, конечно, не только и не столько в том, что это были стихи. Ольга Берггольц своей поэзией затрагивала самое сокровенное в его душе...

Наступало время отъезда наших наставников; один за другим они покидали Иркутск, приютивший людей науки, искусства, сохранивший общее культурное достояние. Отъезжали и Азадовские.

Не могу не сказать, что в самые острые критические моменты того времени Марк Константинович неизменно вспоминается бок о бок с Лидией Владимировной. Конечно, очень многое стерлось в памяти, но запомнилась, например, связанная с ее характером подробность: ее смех, неповторимый, тихий, пленительно-колдовской, и ее пытливый неизменный вопрос «Что?», заставлявший говорить, даже повторять сказанное — он располагал к откровенности, в нем всегда были неподдельное сочувствие, готовность помочь даже в мелочах. Смеясь, она сказала мне на прощанье: «Не печальтесь, душенька! Приезжайте!» И теперь, когда уже нет ни Марка Константиновича, ни Лидии Владимировны, все звучат эти слова: «Душенька... приезжайте!»

Г. Ф. КУНГУРОВ

ДОЛЖНО СТАТЬ ТРАДИЦИЕЙ

Отрадно вспомнить имя любимого учителя и наставника, каким для меня был М. К. Азадовский. Обстоятельства жизни так сложились, что я, будучи студентом Иркутского государственного университета (1924—1928 гг.), учился у него, а в годы Великой Отечественной войны мы вместе работали в Иркутском государственном педа-

гогическом институте. Оба периода оставили в моей памяти приметный след, и в том и в другом случае для меня он был мудрым наставником и советчиком.

Помню, как мы жадно слушали и записывали его лекции по русской литературе XIX века, переписывали их в особые блокноты.

Прошли многие годы. Я читаю этот курс более тридцати лет. И вот передо мною текст лекции Марка Константиновича «Поэтическая школа Жуковского». Какая логика, глубина, насыщенность фактическими данными, с каким изяществом и тонкостью раскрывает он тайны поэтического мастерства Жуковского, убедительно и увлекательно показывает, какими средствами добивается поэт музыкальной ритмики, благозвучия, мягкой лиричности и образности!

М. К. Азадовский — крупный, талантливый ученый, вдумчивый и оригинальный педагог. За его плечами авторитетная историко-филологическая школа, огромный и многогранный опыт, а, главное,—самоотверженная влюбленность в науку, энциклопедическая широта знаний. Нам, студентам-филологам, казалось, что нет вопросов, на которые он не дал бы ответа; нам казалось, что он знает все... Литературовед, этнограф, историк литературы, фольклорист, один из основоположников литературного краеведения, он дал науке огромные ценности.

Запомнился семинар, который вел Марк Константинович по Пушкину. Для него Пушкин — эстетическая святыня, поэтический гений русского национального духа, его творчеству он всегда уделял много времени и внимания. Семинар нас захватил и общей концепцией, и тоном, но больше всего нас поражали неиссякаемые знания деталей, будто бы и незначительных; на деле же оказывалось, что именно эти детали бросали свет на многие принципиальные проблемы пушкиноведения.

Однажды дома я застал Марка Константиновича за рабочим столом, заваленным множеством книг.

— Пишу статью для «Восточно-Сибирской правды» о Тургеневе.

— Поднимаете столько источников из-за газетной статьи?

— Что вы, газетная еще труднее, надо с толком отбирать главное...

Он был увлечен. Я помешал ему. Взглянул на меня:

— Мне осталось немного. Займитесь пока вот этим.

Он дал мне свою брошюру «Затерянные фельетоны Тургенева». Брошюра увлекла с первых строк, с посвя-

щения: «Памяти автора «Старинных портретов». Статья о Тургеневе была опубликована в 1943 году в связи со 125-летием со дня рождения писателя. Меня до сих пор поражает ее начало: «В боевом рапорте орловские партизаны писали: «Два года назад враг ворвался в пределы Орловской области. Он думал, то орловская земля отныне будет навечно отдана прусским юнкерам. Он думал, что брянские леса станут достоянием немецких плутократов. Он думал, что колхозники станут батраками в имениях новоявленных помещиков. Он думал, что орловские люди забудут великий свободный русский язык, что потомки Тургенева поменяют родную речь на немецкую...»

Незабываемы и такие строчки: «Юбилей Тургенева оказался на редкость своевременным. В дни суровых испытаний родины, в дни великого исторического экзамена, который держит сейчас (и блестяще выдерживает) наш народ, в дни, когда весь мир... с изумлением преклонился перед неисчерпаемой силой и пленительным героизмом русского народного характера,—особенно кстати вспомнить писателя, всю свою жизнь посвятившего раскрытию и изображению сущности этого национального характера, его развития и исторического пути его,—писателя, который с необычайной художественной силой раскрыл и показал красоту и чарующую прелесть русской природы и ее труженика—русского крестьянина».

Хорошо, что мы сегодня так дружно собрались. Такие собрания должны стать традицией, их надо проводить ежегодно. Вот перед нами блестящий труд, итог десятилетних усилий, знаменитый двухтомник «История русской фольклористики» — это одна из благодарных тем специальной межзональной конференции, посвященной памяти М. К. Азадовского как фольклориста.

А. И. МАЛЮТИНА

ДОРОГИЕ МОИ АЗАДОВСКИЕ

С Марком Константиновичем Азадовским я познакомилась в суровые военные годы.

Война захватила меня в Сталинграде, где я работала преподавателем литературы и завучем в 25-й средней школе им. Н. К. Крупской. Собиралась поступать в заочную аспирантуру Московского областного пединститута, ныне носящего имя Надежды Константиновны Крупской, но

грозные события задержали осуществление этого плана на целое десятилетие...

Глубокой осенью 1941 года с престарелой матерью и тремя малолетними детьми я была эвакуирована из Сталинграда (муж и два брата находились в действующей армии). Это был эшелон семей военнослужащих. На сборы в дорогу отвели только два часа. Из всего, что было нажито, удалось захватить лишь два чемодана с одеждой и три мешка с книгами. Путь в Сибирь занял около трех с половиной месяцев.

К середине февраля добрались, наконец, до места назначения.

В Енисейске нас поджидал мой отец Иван Петрович Малютин, приплывший с последним пароходом из Туруханска и в меру сил помогавший большой семье переплетной работой для библиотек и контор. Я устроилась преподавателем литературы в учительский институт, потом преобразованный в педагогический, а впоследствии переведенный в Лесосибирск.

Наши душевные силы поддерживала крепкая вера в победу, упорный и разнообразный труд, общение со студенческой и школьной молодежью, семейные литературные чтения, вечера и, хотя и затрудненные, но не порванные связи с дорогими друзьями. Енисейские почтальоны приносили нам письма В. Бонч-Бруевича. В. Е. Евгеньева-Максимова, В. И. Качалова, Т. Л. Щепкиной-Куперник и других. Началась дружба с писателями-красноярцами С. В. Сартаковым, И. Д. Рождественским, Н. Д. Устиновичем.

К замечательным людям, с которыми посчастливилось познакомиться в енисейские годы, принадлежал и Марк Константинович Азадовский. К первым книгам, прочитанным нами в Енисейске, относились его сборники устнопоэтических произведений «Верхнеленские сказки» (1938), «Сказки Магая» (1940), взятые ненадолго у соседа-учителя, и исследования по фольклору. Обширная работа «Фольклоризм Лермонтова», помещенная в 39—40 томах «Литературного наследства» за 1941 год, так понравилась, что я подробнейшим образом законспектировала ее. Наше уважение к этому самоотверженному труженику науки было безгранично. 21 августа 1942 года я отправила ему первое письмо. Последнее датировано 29 октября 1954 года. Более тридцати моих писем сейчас находятся в фонде ученого (№ 542) отдела рукописей Ленинской библиотеки.

Моя первая встреча с Марком Константиновичем была летом 1943 года. Когда я написала о самых светлых впечатлениях от нее, мой отец загорелся желанием высказать ему свои мысли и чувства, поведать о том, как трудно ему было из наинизших низов пробиться к свету, стать рабочим поэтом. Он вспоминал свое горькое детство и юность: «Крестьянство у нас было самое бедняцкое, ни лошади, ни коровы не было: за пашню уплачивали соседям, а остальные обрабатывали сами. Хлеба хватало только на три месяца, а остальное время покупали. Отец сапожничал на хозяина, зарабатывал 6—7 рублей в месяц. Матери родной я лишился двух лет, она была старообрядка, а отец православный, но попов и староверов не любил и молиться никуда не ходил»[1].

Далее И. П. Малютин сообщает о своем литературном архиве и творческих планах. В 1935 году он сдал в литературный музей В. Д. Бонч-Бруевичу 160 писем разных писателей, в течение полустолетия собирал книги и хранил письма своих деревенских товарищей, в которых отражалась жизнь деревни и фабрики того времени. Упоминаются в письме отца авторы, чьи книги с автографами находились в личной библиотеке: А. М. Горький, Г. Н. Потанин, В. Короленко, Н. Морозов, Вс. Иванов, А. Фадеев, Н. Телешов, Вяч. Шишков, Ем. Ярославский и другие. С грустью сообщал, что часть библиотеки погибла в Сталинграде. (Впоследствии еще одна ее часть потонула в Ангаре.)

Сделавшись преподавателем вуза, я считала своим долгом немедленно приступить к научной работе. Сдав летом 1942 года кандидатские экзамены по философии и иностранному языку в Красноярском пединституте, я начала переписку с Марком Константиновичем о следующих экзаменах, которые должна была сдавать в Иркутском университете, где он в то время работал. В военные годы мое положение было чрезвычайно трудным. Забота о семье в шесть человек, перегруженность учебной работой, крайняя скудость материальных положений, резкое ухудшение здоровья и при всем этом усиленная подготовка к сдаче кандидатского минимума и диссертации при отсутствии в городе специалистов, с которыми можно было бы посоветоваться, и необходимой литературы. Я с радостью увидела горячее сочувствие Марка Константиновича, желание помочь, облегчить мое положение, без промедления ответить на все обращения и вопросы. Им высланы были программы для кандидатских экзаменов по фольклору и русской литературе, давались пояснения и указания. Вот

его письмо от 20 сентября 1942 года со штампом Иркутской военной цензуры на конверте:

«Уважаемая Антонина Ивановна!

Я только вчера получил Ваше письмо и немедля отвечаю. Конечно, я считаю своим долгом всемерно помочь Вам, поскольку это в моих силах и возможностях. Очевидно, о диссертации нам придется поговорить только при личной встрече, ибо, не зная Ваших определенных специальных интересов («литература XIX века» — это еще слишком широко), трудно посоветовать что-либо вполне конкретное. К тому же нужно учесть и Ваши возможности книжные.

Что касается литературы по минимуму, то мне трудно высказаться опять-таки определенно о том списке, который находится в руках у Вас. Я попрошу прислать мне копию обеих Ваших программ, и тогда можно будет указать, что следует дополнить, что прибавить, что отнять и вычеркнуть. Как только Вы пришлете мне копию, сейчас же отправлю Вам свои замечания. Ежели Вы напишете мне что-либо более определенное относительно темы, быть может, сумеем письменно потолковать и по этому поводу.

Сумеете ли Вы добыть все нужные книги для подготовки минимума в Енисейске? Конечно, кое-что, быть может, удастся получить по межбиблиотечному абонементу из Иркутска, но и здесь с соответственной литературой дело обстоит не очень благополучно, а то, что есть, имеется, по большей части, в одном экземпляре. А при наличии филологического факультета и ряда историко-литературных семинаров не все, вероятно, библиотека найдет нужным выслать.

Хорошо было бы Вам получить отпуск или командировку на два-три месяца в Иркутск для работы в местных библиотеках: это значительно бы упростило и ускорило дело.

Мой домашний адрес: Иркутск, Красный пер., д. 7, по которому прошу Вас писать каждый раз, когда почувствуете надобность; заранее прошу простить меня, если иногда мой ответ не последует немедленно по причинам, которые, думаю, Вам понятны без специального объяснения.

С товарищеским приветом Ваш М. Азадовский»[2].

Это был первый отклик Марка Константиновича на мое письмо к нему. Приходится буквально поражаться тому, как мог ученый после первого же обращения к нему незна-

комого человека так глубоко вникнуть в его нужды и тревоги, так обстоятельно разобраться в них, наметить наиболее разумную и доступную перспективу его действий на ближайшее будущее. Надо сказать, что в то время срок от начала до конца сдачи минимума был установлен всего один год.

Узнав, что в нашей семье существовал культ Короленко, с которым мой отец переписывался на протяжении десяти лет, и которому на суд посылал свои стихи, Азадовский подсказал мне возможные диссертационные темы по его творчеству. 6 июля 1943 года он писал:

«Уважаемая Антонина Ивановна!

В сентябре, по всей вероятности, я в городе буду,— первого же октября начнется учебный год. Само собой, что Вы вполне можете рассчитывать на мои консультации,— но, конечно, никаких лекций обещать не могу.

«Короленко» — превосходный материал для диссертации. Тем вокруг него неисчислимое количество. Можно, например, взять цикл сибирских рассказов (так и озаглавив диссертацию: «Сибирские рассказы Короленко»), можно взять такую тему, как «Короленко — публицист», раскрыв художественную сторону его публицистики; «Короленко и фольклор» и многие другие. «Творчество Подъячева» — может быть вполне диссертационной работой.

Жму руку. Ваш М. Азадовский».

О теме «Творчество Подъячева» Марк Константинович пишет потому, что я просила его высказать и о ней свое мнение. Семена Павловича Подъячева у нас в семье тоже любили, отец мой с ним дружил, бывал у него, а Подъячев приезжал к нам с женой Марией Степановной. Как и произведения Короленко, Вяч. Шишкова, отец любил читать вслух домочадцам и гостям рассказы Подъячева. Когда у нас не было отдельных интересных его рассказов, я переписывала их печатными буквами из газет и журналов, и чтение шло по рукописи.

Мне понравились все три короленковские темы, однако после непродолжительных раздумий я остановилась на сибирской. Или потому, что я родом сибирячка, или потому, что люблю Сибирь и все сибирское мне как-то ближе. Была и еще одна причина: большое впечатление произвела на меня статья Азадовского «Поэтика «гиблого места»,

свидетельствующая о глубоком проникновении в творчество писателя. Его прекрасная осведомленность в проблемах короленковедения подтверждается тем, что впоследствии другими соискателями были успешно разработаны и две другие предложенные им темы.

Через год после начала нашей переписки состоялись первые встречи. Я пожертвовала своим летним отпуском для поездки в Иркутск, как советовал Марк Константинович. Три дня по билету IV класса (без места) ехала по Енисею до предела перегруженным пароходом до Красноярска, а дальше — поездом.

Чтобы свести концы с концами (тем более, что поездка не оплачивалась), я вынуждена была на красноярской толкучке продать далеко не лишний плащ и золотое колечко с рубинчиками и изумрудиками в виде цветов и листьев, подаренное мне вдовой поэта Аполлона Коринфского, навестить которую я ездила в 1938 году из Сталинграда. За него дали всего 600 рублей, на которые можно было купить лишь один килограмм масла. Страшно жаль было расставаться с этим бесценным подарком, но другого выхода не нашлось... К утратам я уже привыкла. В Сталинграде были брошены на произвол судьбы сотни ценных книг, пропали некоторые письма корифеев науки и литературы. В Ташкенте прямо на станции был оставлен графин, тоже подарок Марианны Иосифовны Коринфской, когда-то принадлежавший Некрасову. На его пробке сверкал металлический лев, а сбоку на стекле была вырезана надпись: «Выпьем по рюмочке да позавтракаем».

В Иркутске я первым долгом отправилась разыскивать Марка Константиновича, который, как мне сказали, жил с семьей на даче за речкой Ушаковкой, и нашла довольно быстро. Там я встретилась и с Марком Константиновичем, и с обаятельной, походившей на молоденькую девушку Лидией Владимировной, и с Костиком, которому не было еще и двух лет. Отнеслись ко мне тепло, сердечно, и с этого летнего дня в моей душе появилось к этой семье светлое родственное чувство, уже никогда не угасавшее. Казалось, не только несколько писем связывает нас, а многие встречи, что мы уже целый век дружили... Увидев на моих ногах галоши, Марк Константинович по-хорошему позавидовал мне: у него такой роскоши не было, ведь год назад он, его жена и ребенок, которому шел первый год, потеряв многих близких людей, уезжали из блокадного Ленинграда крайне поспешно, собравшись кое-как, не захватив самого необходимого...

Азадовский свел меня с энтузиасткой книжной нивы, директором научной библиотеки Людмилой Константиновной Жилкиной, которая любезно подбирала мне всю необходимую литературу, а потом посылала нужные книги по межбиблиотечному абонементу.

Время было ограничено, а сделать надо было так много! И я стремилась все делать быстрее и чуть не бегала в книгохранилище и обратно, постукивая по асфальту деревянными подошвами босоножек. Транспорт в военном Иркутске, как и везде, работал плохо. А когда на ногах появились мозоли, сам Бог послал мне увесистую ветку алоэ, свалившуюся на тротуар из открытого окна с какого-то верхнего этажа, и лечение мое было обеспечено. На завтрак и ужин у меня были пол-литра масла и пол-литра меду, захваченные из Енисейска, которые надо было растянуть на все лето, а обед я получала по пропуску в университетской столовой, где супы были постные, с плавающими кусочками турнепса, а на второе обычно — овсяная каша (турнепс и овес люди отнимали у безропотных животных — кормильцев и тружеников). В университете в это время скопились крупные научные силы, в том числе и эвакуированные из центра, и питала их та же столовая, так что среди студенческих голосов можно было услышать там громкий бодрый голос профессора Подгорбунского, и встретить К. А. Копержинского, В. Д. Кудрявцева и других...

Из иркутских улиц особенно запомнился Красный переулок и дом № 7, где жил Марк Константинович. Этот дом казался мне настоящим храмом, я заходила туда как в святилище. Уже передняя была от пола до потолка уставлена книгами. А сколько их было в кабинете! Там на столе всегда лежали новые книги, журналы, свежие газеты.

Щедрый хозяин подбирал мне книги, необходимые для сдачи кандидатского минимума. Здесь было то, чего не было в научной библиотеке и что трудно было получить. У меня просто глаза разбегались, глядя на эти книжные сокровища! Интересно было даже взглянуть на них, перелистать редчайшие книги по истории литературы и особенно по устному народному творчеству, а тем более погрузиться в их вдумчивое чтение. Я высокими связками уносила их из гостеприимного дома, по прочтении меняя на новые. А читала и по ночам, и в дневные часы, когда закрывалась библиотека. По совету учителя многим удалось воспользоваться и в библиотеке Географического общества.

Поселили меня на жительство в совершенно необитае-

мом здании студенческого общежития — студенты трудились в колхозах. Добираться туда приходилось довольно долго, пешком, ночью, по безлюдным и совершенно темным улицам—с электричеством в городе было туго, не до уличного освещения. Жутко было проходить мимо Иерусалимского кладбища (впоследствии превращенного в парк), иногда казалось, что на могилах вспыхивают таинственные огоньки. Я робко поднималась по темной лестнице куда-то на четвертый этаж, находила в пустом коридоре свою комнату. Она не запиралась и для «безопасности» я связывала веревочкой дверную ручку и железную спинку кровати...

После основательной подготовки я, наконец, решилась сдавать кандидатские экзамены и сдала по фольклору 14 сентября, по истории русской литературы 21 сентября 1943 года, получив оценки «хорошо» и «отлично», которыми была весьма довольна. Помимо вопросов по программам, мне был задан ряд вопросов по избранной для научной работы теме. Испытания проходили в обширном лекционном зале. Кроме Азадовского членами комиссии были профессора К. А. Копержинский и В. Д. Кудрявцев. После этих исторических для меня событий Иркутск стал моим любимым городом.

Неоценимая помощь Марка Константиновича моей научной работе продолжалась. Ответить и без промедлений на любой вопрос, дать добрый совет, выслать необходимый материал — было его святым правилом. По его рекомендации Иркутская научная библиотека высылала нужную литературу.

Я считала счастьем, подарком судьбы свидания на Ангаре, и в то же время было грустно, что время все более отодвигает их в прошлое. «Как хороший, светлый сон запечатлелись в моей памяти поездка в Иркутск и встречи с Вами,— писала я своему учителю.—Вот уже три месяца отделяют меня от этих дней. Ваши консультации, книги, прочитанные по Вашему совету, мне очень многое дали. Я пробуждаю у своих слушателей интерес к Вашим работам и изданиям, вышедшим под Вашей редакцией»[3].

Читая студентам курс фольклора, настраивая на его собирание, я опиралась на труды Марка Константиновича (статьи из книг «Литература и фольклор», «Беседы собирателя», предисловия к различным фольклорным сборникам), сборники фольклорных произведений.

Азадовский не только сам был моим постоянным советчиком, но старался привлечь к наставничеству и других,

кто мог быть полезен. Так он познакомил меня с крупными короленковедами Абрамом Борисовичем Дерманом и Григорием Абрамовичем Бялым, с которыми я встречалась и переписывалась. Творческое общение с первым продолжалось до его кончины, а со вторым продолжается и поныне. Он советовал также обращаться к семье Короленко (в Москве жила Наталья Владимировна с дочерью Софьей Константиновной, а в Полтаве — Софья Владимировна, директор музея В. Г. Короленко), чему я также последовала. Все они стали моими консультантами, читали и анализировали мои тезисы, конспекты, отдельные главы. Дочери В. Г. Короленко рассказали много интересного из биографии своего отца и истории создания его произведений. Все это было для меня чрезвычайно полезно, хотя высшим, непогрешимым авторитетом всегда оставался Марк Константинович. В связи с расширением, благодаря ему, круга консультантов и критиков, позволю себе привести целиком одно из своих писем в Иркутск:

11 марта 1944 г. Енисейск.

Глубокоуважаемый Марк Константинович!

Очень благодарна Вам за открытку от 25 января, где Вы пишете о своем возвращении из Москвы и о реэвакуации академических институтов весной этого года.

Я решила, что напишу Вам тогда, когда получу ответы на свои письма к А. Б. Дерману и Г. А. Бялому. Теперь я уже получила хорошие письма от того и другого, весьма ценные для меня, с указаниями, которые будут обязательно учтены мною. Оба пишут о необходимости сопоставления сибирских рассказов Короленко с тою же тематикой и других писателей. Абрам Борисович пишет, что «тема «Сибирские рассказы» — хорошая, благодарная, помогай Вам Бог!».

Григорий Абрамович сообщает, что рукописные материалы, относящиеся к моей теме, находятся сейчас в Москве в Ленинской библиотеке, куда поступил весь архив Короленко. Он дает свой ленинградский адрес, адрес Софьи Владимировны Короленко (она проживает в Свердловске), которой я уже написала, а также просит передать Вам, Марк Константинович, свой сердечный привет. И тот, и другой от души желают успеха и обещают помочь чем могут. Меня их письма чрезвычайно обрадовали. Недавно я получила письмо от писателя Н. Д. Телешова. Но порою я впадаю в отчаяние, и мне начинает казаться, что сидя здесь, я ничего не сумею сделать. И начинаю уже подумывать о

том, не перебраться ли куда-нибудь в другое место, поближе к центру.

Я пока еще перечитываю литературу о Короленко, выписываю из нее все, относящееся к сибирским рассказам, перечитываю творения самого писателя. Таким образом, работа моя находится еще в самой начальной стадии. Иногородние библиотеки высылают литературу с трудом. Томская библиотека второй год ни на какие запросы не отвечает. Стараюсь почаще вспоминать пословицу, которую любил Лев Толстой: «Делай что должно, и будь что будет!»

Если бы не ребятишки, я, пожалуй, поступила бы в аспирантуру в один из московских институтов и целые дни проводила бы в библиотеках и музеях.

Шлю Лидии Владимировне и всей Вашей семье сердечный привет и наилучшие пожелания.

Уважающая Вас А. Малютина.

P. S. Отец мой также шлет Вам свой сердечный привет.

А. М.»

Марк Константинович не меньше меня, а может быть, и больше, думал над тем, как помочь делу. И занятый своей многогранной деятельностью, и находясь на отдыхе, он выкраивал время на то, чтобы что-то подсказать, подобрать. Это подтверждается следующим его письмом, которое привожу полностью:

«Келломяки, 20 янв. 1947.

«Милая Антонина Ивановна!

Спасибо за новогоднее поздравление, но тон Вашего письма меня огорчил. Конечно, Вам очень трудно там — почти на берегу Ледовитого океана. Трудно без людей и без книг. Заочная аспирантура Вам, пожалуй, мало что даст,—разве только Вы будете иметь право приезда на более или менее длительный срок, чтобы позаниматься в каком-нибудь большом городе. Но только не унывать! Не сдаваться!

Не знаю, голубчик, что Вам посоветовать. При Ваших несомненных способностях и общей культуре Вы бы, я полагаю, быстро уловили бы все, что нужно, поработав хотя бы год в хорошем научном семинаре. Но где взять этот год? Сможете Вы и как его взять? Понимаю законность Вашего вопроса — и не знаю, как выйти из этого положения. Может быть, Ваш институт сумеет предоставить Вам годичную командировку для научной работы в Ленин-

град или Москву, смотря по тому, куда склонно Ваше сердце.

Имейте в виду, что ходят слухи о каких-то новых — и гораздо более серьезных требованиях к диссертантам. Ходят слухи о повышении числа экзаменов по кандидатскому минимуму, о дополнительных испытаниях для тех, кто уже сдал и пр. Никто еще ничего толком не знает, потому что в Министерстве лежат разные проекты и неизвестно, какой именно будет утвержден. А кто что знает, тот хранит авгурское молчание.

Кстати, я все хотел Вам раньше сказать, да боялся оторвать от короленковской темы. Почему бы Вам не съездить в северные районы Енисейского округа — к самым северным русским жителям — и не попробовать поискать у них чего-либо? У меня сейчас нет под рукой карты — боюсь точно сказать, но склонен думать, что Вы сможете найти такие районы, где для фольклориста может быть большая пожива. Попробуйте поставить себе небольшую задачу: «Фольклор северных районов Енисейского округа». Может быть, организовать поездку со студентами туда — провести месяц хотя бы: лучше всего сделать два выезда: один зимой, другой летом. Подумайте-ка об этом. Жму руку.

Весь Ваш М. Азадовский».

Одно из следующих писем я получила от своего наставника в тяжелом для него 1949 году. Должна сказать, его драму я пережила как свою собственную, настолько близким сделался этот редкой душевной красоты человек. И до сих пор воспоминание о незаслуженных этим ученым-патриотом гонениях щемящей болью отзывается в сердце. Впоследствии, когда его не стало. Лидия Владимировна, как она мне рассказывала, отправила назад венок, присланный из Пушкинского дома: так его сотрудники обидели прекрасного человека и ученого...

Даже в те горестные дни он жил интересами других людей, с душой, по-прежнему открытой для добра. Вот его письмо из Ленинграда от 4 июля 1949 года:

«Милая Антонина Ивановна!

Рад был получить весточку от Вас,—только до меня дошло одно Ваше письмо (последнее). Рад и тому, что Вы не бросили работы над диссертационной темой. Скорей кончайте,—и, конечно, я всегда буду рад помочь Вам, не-

смотря на все те неприятности и невзгоды, которые обрушились на мою седую голову.

Недавно читал «Воспоминания» Н. Д. Телешова, это там Ваш отец упоминается?

Жму руку. Ваш М. Азадовский.

Отвечая на это письмо, я сообщила, что у Н. Д. Телешова в 10-й главе действительно речь идет о моем отце, с которым автора воспоминаний связывала многолетняя дружба (у отца от Николая Дмитриевича было около двухсот писем).

Я не могла не горевать и не думать о превратностях судьбы. Давно ли, думалось мне (27 июня 1945 года), я поздравляла своего учителя с награждением в числе других работников АН СССР, имеющих выдающиеся заслуги в развитии науки, в связи с 220-летием АН СССР орденом Трудового Красного Знамени и писала, что это «придаст новые силы для Вашей большой и плодотворной деятельности...»[4]. И вдруг такие несчастья! Впоследствии я узнала об осложнениях на работе, о расторжении издательствами договоров и другие подробности. На этом тяжелом этапе жизни и деятельности большого ученого детально останавливается Н. Н. Яновский в недавно вышедших главах из очерка о жизни и творчестве М. К. Азадовского[5].

После этого Марку Константиновичу оставалось жить всего несколько лет. Он мог бы прожить дольше. К чести ученого надо сказать: несмотря ни на что он продолжал обогащать науку. Именно такими, как он, представлялись мне всегда истинные люди науки. Такими, например, мне запомнились Н. А. Морозов, С. П. Глазенап, П. Л. Драверт...

Действуя по продуманной Азадовским программе, я добилась прикомандирования на год (1949—начало 1950 г.) в аспирантуру Московского областного пединститута для завершения и защиты диссертации, окончательная тема которой определилась как «Сибирские рассказы В. Г. Короленко и их народно-поэтическая основа».

Крен в сторону фольклора сделал обращения к Марку Константиновичу как крупнейшему сибиреведу и великому знатоку сибирского фольклора еще более необходимыми. В Ленинской библиотеке я заново перечитывала его работы по устному народному творчеству, постоянно пользовалась его указателем «Сибирь в русской художественной литературе» (1926), писала письма ему в Ленинград, задавая

вопросы по основным проблемам своего исследования, по фольклору вообще и по сибирскому фольклору, по сибирской литературе и творчеству Короленко. А официальный руководитель помогал мне в общеметодологическом плане.

15 января 1950 года Марк Константинович писал из Ленинграда, отвечая на ряд вопросов, связанных с исследовательской работой. Меня беспокоило, как бы в библиографию к диссертации не попали «сомнительные имена». Он советовал «проверить по наличию их в библиотеке. Подайте требования и поймете, какие имена существуют и какие нет. Во всяком случае, ясно, что такие деятели, как Ястремский, Ровинский, Турбин, Геденштром и т. п., действовавшие чуть ли не 100 лет тому назад, и уж, во всяком случае, не менее 50, никакого сомнения вызвать не могут. Сомнения могут вызвать лишь имена, появившиеся в печати за последние 30—36 лет».

Как умел радоваться Марк Константинович успехам других! Перед самой защитой он сообщил свой отзыв об автореферате:

«14 апреля 1950.

Милая Антонина Ивановна!

Автореферат получил своевременно, спасибо. Прочел его с удовольствием и никаких возражений с моей стороны он не вызвал. Радуюсь за Вас, что все, наконец, завершилось и восхищаюсь Вашей настойчивостью и мужеством.

Так как Вы сразу же после диссертации уезжаете, то мне, конечно, не удастся уже поздравить Вас с результатом (в благополучии которого я не сомневаюсь), а потому позвольте пока пожелать Вам успеха, бодрости, здоровья и спокойствия духа на защите.

Если я не ошибаюсь, то в этом году исполнится ровно семь лет со дня нашей первой встречи и первого нашего разговора о Короленко. Не всегда удается так удачно наметить тему, как это вышло на этот раз.

Как раз вчера вечером у меня был Г. А. Бялый (принес мне только что вышедшую свою книгу о Короленко), и мы с ним беседовали и о Вас.

Жму руку. Сердечно Ваш М. Азадовский».

Положительный отзыв об автореферате от наиболее авторитетного для меня ученого обрадовал меня. Марк Константинович был первым из моих друзей, которого я уведомила о том, что защита прошла прекрасно. На ней

присутствовал А. Б. Дерман, в президиуме сидела Наталья Владимировна Короленко.

В том же месяце из Ленинграда с улицы Плеханова от моего учителя пришла открытка, в которой он пожурил меня. И было за что! Дело в том, что, расправившись с кандидатской диссертацией, я возмечтала в ближайшие годы поступить в докторантуру, советовалась о темах, имела уже «планы» и «заделы» и, вероятно, поступила бы, если бы, к несчастью, докторантура на несколько лет не оказалась отмененной. Марк Константинович, сдерживая мой исследовательский пыл, опять рекомендовал разумную программу действий:

«30 января 1950.

Милая, безумная женщина! Какие Вам докторские темы, какие опять диссертации?! Три года умственного отдыха — вот что Вам нужно. И больше ничего. Хватит забот со студентами и начальством. Одно стоит другого.

А для души опубликуйте что-либо из своей кандидатской диссертации. Во всяком хорошем и уважающем себя институте должны быть «Ученые записки». В Енисейске их ни разу не было. Вот и займитесь их организацией. Студентов заставьте собирать фольклор—что-либо из хороших записей опубликуйте. Вот и будет хорошо.

Жму руку. Желаю всего лучшего.

Ваш М. Азадовский».

Марк Константинович оказался как всегда прав. Не буду говорить о длившейся годами «холодной войне» с начальством, смотревшим на институт как на свою вотчину, скажу о другом.

Как заведующая кафедрой литературы, я действительно провела большую работу по организации и выпуску «Ученых записок» нашего института. На основе диссертации была написана статья «Короленко и народное творчество», напечатанная в «Сибирских огнях» за 1953 год (№ 4), которая понравилась ее вдохновителю. Сам он был тяжело болен и Лидия Владимировна писала мне 7 января 1954 года: «Статью Вашу о Короленко в «Сибирских огнях» он прочел с большим удовольствием. Вообще он поражается Вашей энергией. Вероятно, Вам приходится в Енисейске нести на своих плечах всю факультетскую нагрузку».

Убедившись в стойкости моего стремления повышать свою научную квалификацию, Марк Константинович в

следующих письмах высказывает свое мнение относительно задуманных мною планов и намерений.

«Меня очень порадовал бодрый тон Вашего письма и обилие Ваших творческих замыслов,—писал он 29 апреля 1952 года.—По-моему, все темы хороши. Об Успенском в Сибири можно написать очень серьезно; я кое-что пытался наметить в своих «Очерках литературы и культуры в Сибири». Если заинтересуетесь эволюцией автобиографического жанра, обязательно посмотрите вышедшее в декабре прошлого года под моей редакцией новое издание «Воспоминаний Бестужевых». В статье я как раз ставлю вопрос о мемуарах как художественном произведении».

Нежно заботясь о чужом здоровье, Марк Константинович часто был расточителен в отношении своего. В этом плане любопытно одно из его последних писем — от 3 октября 1952 года,— в котором он, несмотря на увлеченность научным творчеством, не забывает высказаться и по поводу еще одной моей «задумки». Привожу это письмо:

«Простите, милая Антонина Ивановна, за запоздалый и неаккуратный ответ. Но все лето, вопреки всяким законам природы и назло им, я работал, забыв о всяком отдыхе. Написал одну, довольно большую работу о декабристах, но вне связи с Сибирью.

Ваше намерение написать работу об Ольхоне очень одобряю. Может быть, писать не статью, а большую работу листов 6—7—8, так чтобы вышла небольшая книжка. Быть может, стоит съездить в Иркутск, побывать в его семье, ознакомиться с его архивом и пр.

*Если будете такую работу делать, сообщу Вам его письма ко мне. Сейчас в Иркутске вышел небольшой сборник «Советские писатели Сибири» («Писатели советской Сибири».—*А. М.*)—там есть и статья об Ольхоне, написанная Кунгуровым. Читали ли Вы, что умер А. Б. Дерман? Жму руку.*

Весь Ваш. Азадовский».

Об Ольхоне мне удалось опубликовать еще в 50-е годы две статьи, третья пока в рукописи.

Хочется в приведенном письме опять подчеркнуть щедрость «байкальского сердца» Марка Константиновича, как называл его в одноименном прекрасном

стихотворении Анатолий Ольхон, готовность сообщить письма поэта, позднее опубликованные в «Литературном наследстве Сибири» (1969, т. 1).

...Мое повествование близится к печальному концу. На мою долю выпало 12 лет счастья, которым я считаю дружбу с Марком Константиновичем. 1954-й год был последним годом его жизни. В начале золотой осени этого года с тяжелыми мыслями о его болезни я приехала в Ленинград. Больной лежал в постели, с которой ему уже не суждено было подняться. Грустное, опавшее лицо, бледность, усталый приглушенный голос. Но во всем облике те же приветливость и доброта, к которым все привыкли. Я долго сидела около него, и мы долго беседовали. Стали известны детали пережитой им беды. В таком безнадежном состоянии он по-прежнему живо интересовался моей жизнью и работой. Пришли врачи. Пока они осматривали больного, я находилась в его обширном кабинете, сверху донизу заставленном книгами. Было интересно окунуться в это книжное царство, посмотреть, что подбирал, чем увлекался, что читал любимый учитель, какие книги всегда хотел иметь под рукой.

Когда медики ушли, наша беседа продолжалась еще некоторое время. Боясь утомить больного, сдерживая подступавшие слезы и произнося одобряющие слова, я стала прощаться... Из дальних лет слышатся мне беспощадные слова моего учителя о том, что это наша последняя встреча, что мы больше не увидимся. Он как всегда был прав...

До последнего дыхания не выпуская из рук перо, он ушел навсегда без седины в своем горячем и бурном байкальском сердце...

Переписка и встречи с Лидией Владимировной продолжались еще около трех десятилетий. Мне казалось, что она моложе меня и мне не придется оплакивать ее, но время рассудило иначе. Нет уже и ее... Своей отзывчивостью, желанием помочь всем нуждающимся она напоминала супруга. По ее словам, она стремилась «запечатлеть образ этого человека в сознании и памяти людей», но и сама внесла ценный вклад в литературоведение. Как пишет Н. Н. Яновский, верная спутница ученого — «не только хранительница его наследства, но и продолжательница того, что сегодня с полным правом можно назвать «школой Азадовского»[6]. Громадная работа проведена ею по изданию «Истории русской фольклористики», представляющей итог многолетних работ Азадовского. Первый том вышел в Моск-

ве в 1958-м, второй — в 1962 году. Как я радовалась, когда она мне их подарила!

А до этого был получен критико-биографический очерк «В. К. Арсеньев». Но самый ранний ее драгоценный подарок — ленинградский сборник «Русская советская поэзия и народное творчество», авторы которого — непосредственные ученики или сотрудники Азадовского: К. Чистов, И. Эвентов, Д. Молдавский, А. Дымшиц, В. Бахтин, С. Владимиров и другие. В своем вступлении они писали, что этот труд посвящен «памяти выдающегося советского ученого, историка литературы, фольклориста». На книге была надпись: «Дорогой Антонине Ивановне Малютиной в память незабвенного Марка Константиновича. Л. Азадовская. 26 декабря 1955».

Зная, как это мне интересно, Лидия Владимировна знакомила меня с обстоятельствами, ходом и результатами своей работы, в которую вкладывала много сил, любви и души. Так, она сообщала, что «Первый том «Истории фольклористики» имел 6 положительных рецензий. Второй том находится сейчас в Москве, шефствует над ним Э. В. Померанцева».

Однажды я получила от Лидии Владимировны большое интересное письмо:

«1 января 1969 г.

С Новым годом, дорогая Антонина Ивановна!

Примите мои запоздалые поздравления и пожелания всего наилучшего на 1969-й год. Опоздание мое объясняется гриппом, который свалил меня с ног 26 декабря. Как раз в эти же самые дни была у меня и вожделенная корректура из Новосбирска—первый том «Литературного наследства Сибири». Надо было одолеть 200 страниц, основательно тронутых редакцией. Была счастлива, когда, наконец, Костя отправил их обратно в Новосибирск.

А до этого было 80-летие со дня рождения Марка Константиновича. 18/XII вечером у нас собрался народ, а 24-го было научное заседание, посвященное его памяти, в Институте этнографии Академии наук. Председательствовал акад. В. М. Жирмунский, он же сказал и вступительное слово. Прошло очень хорошо, была даже заметка о нем в «Вечернем Ленинграде».

Жаль, что Вы не были 18/XII в Иркутске, на заседании ученого совета университета. Длилось оно 4 часа, выступали 12 человек. Было вынесено постановление о наимено-

вании одной из улиц Иркутска его именем и об учреждении стипендии его же имени. Не знаю, как все это будет реализовано, кажется, это дело довольно сложное. Газет иркутских еще не имею, были только краткие сообщения в новогодних открытках и телефонный звонок.

Дорогая Антонина Ивановна, я очень тронута Вашим вниманием к моей работе об Ядринцеве. Но не беспокойтесь больше. «Сиб. записки», 1919, № 2 лежат у меня на столе. Мне его прислали (конечно, на время) из одной частной библиотеки, из Красноярска. Да и он оказался не столь уже и интересным и актуальным, как я предполагала. На днях буду отправлять обратно.

Рада за Вас, что скоро окажетесь в Москве. Получите массу новых впечатлений и освежитесь. А до нас не сумеете доехать?

Сердечный привет. Ваша Л. Азадовская».

Из этого письма видно, как дорога была для Лидии Владимировны память о Марке Константиновиче, как радовалась она, когда эту память отмечала общественность, как много работала над изданием его трудов, какими разносторонними были ее научные изыскания. Письмо проникнуто добротой по отношению к друзьям, с которыми ей хотелось бы повстречаться.

С энтузиазмом занималась Лидия Владимировна созданием книги, приуроченной к 90-летию своего мужа: «М. Азадовский. Статьи и письма» (Новосибирск, 1978), в которую вошел ряд его еще не публиковавшихся статей и наиболее интересные его письма к сибирякам по значительным вопросам сибиреведения и фольклора. В книгу включена ее ценная статья «Из научного наследия М. К. Азадовского».

Активная деятельность Азадовской сочеталась с нежной заботой о сыне. 6 ноября 1958 г. она написала о «большой перемене в жизни»: «Костя кончил 10-летку, сдал все вступительные экзамены на пятерки и сейчас он студент германского отделения филфака. Месяц был в колхозе, а с 6 ноября стал заниматься. Я очень счастлива, что этот вопрос разрешился так благополучно». А 30 октября 1967 года она с радостью сообщала, что «Костя пишет диссертацию, хочет осенью подавать». Переписка с Лидией Владимировной свидетельствует о том, что она дорожила нашей проверенной годами дружбой. Как и ее муж, она была исключительно обязательным человеком и, чуть задержавшись с ответом, чувствовала себя неловко, указывала причины задержки, которые всегда были уважитель-

ными. С 70-х годов у нее чаще звучат жалобы на болезни, которых, по ее выражению, набирался целый «букет».

Обладая тонкой и чуткой душой, Лидия Владимировна тяжело пережила не только кончину мужа. Болезненно реагировала она и на другие утраты. У их семьи было много друзей, больших ученых. 13 ноября 1970 г. в ее письме говорилось: «...случилось несчастье. Утром 3 ноября скоропостижно скончался профессор Иосиф Моисеевич Тронский, самый дорогой, самый близкий друг нашей семьи».

А вот из письма от 31 января 1971 года: «Сегодня у нас у всех тяжкий день. В 8 часов утра скончался В. М. Жирмунский... Ушел из жизни филолог № 1. Второго такого нет и не предвидится. Филология понесла ни с чем не сравнимые потери за последние 6 месяцев. В августе— В. Я. Пропп, в сентябре—Ю. Г. Оксман, в октябре— Н. И. Конрад, в ноябре—И. М. Тронский и вот сейчас В. М. Жирмунский. Снято целое поколение ученых... Хотелось бы сохранить память о всех этих ушедших людях. Мне кажется, что сборник, которым я занимаюсь, восполняет этот пробел» (речь идет о подготовке к изданию писем М. К. Азадовского.—**А. М.**). Лидия Владимировна искренне разделяла и мои горести и потери (мать, отец, муж) и 30 октября 1967 года писала: «...Все слова бессильны. Только время и труд дают возможность дальнейшего существования. Надо это пережить!»

Посвящая свою жизнь делам и памяти Марка Константиновича, Лидия Владимировна «была талантливым и верным преемником его идейного стиля его жизни и работы». Как радовалась она, что в Иркутске проводятся филологические чтения имени Марка Константиновича, на которые приглашают и ее.

Трудно писались мною эти страницы. Наверное, чем дороже человек, чем больше его любишь, тем труднее писать о нем.

На Охтинском кладбище в Ленинграде высится черный гранитный памятник, уходящий вершиной в небо... В эту минуту хотела бы я преклонить колени перед этим памятником, под которым покоятся мои дорогие друзья Азадовские, но тысячу верст отделяют меня от него...

Неутолима моя печаль об этих прекрасных людях. Но в печаль вплетается радость, как белая роза в венок из черных роз: эти прекрасные люди были, и они оставили миру бесценное духовное наследие; светлым немеркнущим лучом они прошли и через мою жизнь...

Е. В. БАРАННИКОВА

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО СЕРДЦА

Шел 1942 год...

Где-то уже глубокой осенью, когда стало совсем холодно, утром, придя в университет, слышим: «Профессор Азадовский сегодня начинает читать у нас...» Как теперь помню, в аудиторию вошел невысокий человек с удивительно внимательными, ясными глазами, приветливым и благородным лицом. Мы в пальто (было очень холодно в аудиториях), стоя, приветствовали Марка Константиновича.

И вот его первая лекция... Признаться, нам, вчерашним школьникам, многое еще было непонятно, необычно. Но это только сначала. Постепенно мы привыкли к его негромкому голосу, неторопливому рассказу — именно рассказу, так как Марк Константинович свободно, не заглядывая в конспекты, читал лекции,—очень живому и насыщенному интересным материалом. Марк Константинович всегда приводил множество аналогий, сопоставлений из фольклора, искусства и литературы других народов; при этом часто, остановившись, обращался к нам с каким-либо вопросом по теме. Устанавливался живой контакт; этому, безусловно, способствовало на редкость уважительное отношение лектора к аудитории. В эти незабываемые часы большой ученый не только приобщал нас к науке, но учил размышлять, вырабатывать свое отношение к тем или иным фактам, познавать красоту и глубину художественного слова.

Посчастливилось мне пройти аспирантуру у профессора М. К. Азадовского в Ленинградском университете, куда я приехала по его вызову в 1947 году. К этому времени аспирантами были выпускники Иркутского университета — Ольга Сазонова и Людмила Черных. Кроме них, в семинаре по фольклору у Марка Константиновича возобновили учебу и те, кто вынужден был прервать ее и пойти на фронт — А. Д. Соймонов, К. В. Чистов, Н. В. Новиков, тогда же занимались Д. Молдавский, О. Гречина, И. Лупанова, Л. Домановский и другие. На семинар М. К. Азадовский привлекал и уже известных тогда исследователей: В. Г. Базанова, И. М. Колесницкую, сотрудников ИРЛИ (Пушкинского дома). На семинарах Азадовского выступали с докладами аспиранты и студенты из Югославии, Чехословакии и других стран. Занятия проходили в кабинете русского фоль-

клора, где некогда начинал свои первые шаги в науке наш учитель под руководством профессора Шляпкина, которого он часто с благодарностью и тепло вспоминал.

Благодаря особому таланту Марка Константиновича увлекать людей, бескорыстно помогать им в науке, благодаря его умению творить добро, его семинары всегда были многолюдными, оживленными, где всем было интересно, где каждый чувствовал себя свободно. Это была подлинная научная школа со своими традициями, своим направлением, где господствовала атмосфера научной добросовестности, непринужденности в спорах. Последние иногда были очень горячими и принципиальными, и руководитель наш умел направить по такому руслу эти обсуждения и споры, что мы свободно излагали свои мысли и суждения, вступая незаметно в полемику с ним самим.

Один раз в неделю, по четвергам, аспиранты Марка Константиновича собирались у него дома. Эти дни для нас были очень ответственными, и в то же время я, например, всегда ощущала приподнятость. К определенному часу мы все собирались в его просторном кабинете, где господствовали книги. Собственно, в царство книг мы попадали, уже переступив порог в переднюю, заставленную до самого потолка книгами, журналами.

В кабинете стоял стол, на котором лежали новинки — книги, журналы, оттиски, газеты, с которыми мы знакомились тут же, обменивались мнениями.

А самое главное — на этих четвергах каждый из нас должен был рассказать о том, что успел сделать за этот срок по своей диссертации, над чем работал в библиотеках.

Это был не только своеобразный отчет перед нашим руководителем, но снова была учеба.

Огромная эрудиция, доброжелательность и личное обаяние Марка Константиновича всегда притягивали к нему людей различных возрастов. Он всегда был окружен ими, и особенная дружба у него была с молодежью.

Человек красивой, поэтической души, большого и чуткого сердца, он весь был открыт для людей. А сердце у него действительно было большое. Оно вмещало не только радости многих и многих людей, но их беды и горе. Он всегда нес им свое тепло, свои заботы.

Будучи тяжелобольным, но продолжая много и успешно работать («Я весь ушел в декабристов»,—писал как-то в письме Марк Константинович) при постоянной помощи жены Лидии Владимировны, Марк Константинович никогда не переставал заботиться о людях. Его письма всегда

восхищают высоким человеколюбием и благородством. Он не мог мириться с несправедливостью, оставаться равнодушным, если знал: обойден вниманием пожилой и достойный человек,— требовал бережного отношения к талантам. Так, до него дошли слухи о том, что подвергается несправедливой критике писатель Чимит Цыдендамбаев, которого он знал, помогал при создании им романа о Д. Банзарове, и тут же он пишет: «... пожалуйста, напишите мне об этом... необходимо бережное отношение к человеку, обладающему бесспорным талантом». Одно из последних писем Марк Константинович посвятил А. Н. Орловой — сотруднице Кяхтинского музея, которой исполнилось 80 лет: «Будьте добры, окажите мне такую любезность: наведите соответственные справки и опишите мне. А главное, сумейте выяснить, есть ли надежда, что эта замечательная труженица будет наконец вознаграждена по заслугам. Человек она редкой скромности, большого внутреннего благородства, высокой честности и исключительного сознания долга...»

И так до последнего своего часа продолжал профессор Марк Константинович Азадовский преданно служить науке и творить добро для людей.

Он всегда был и останется живым примером для своих многочисленных учеников, к числу которых имею счастье принадлежать и я.

И. П. ЛУПАНОВА

УЧИТЕЛЬ

Шел сентябрь 1941 года. После месячного странствия по озеру и рекам баржа, на которой мы с мамой эвакуировались из Петрозаводска, наконец, причалила к берегу. Вологодская область. Небольшая деревенька со смешанным названием Куркинская. Здесь нам теперь предстояло жить. Сколько? Кто знает...

Война безжалостно переломила судьбу надвое. Все, что совсем недавно было жизнью, радостью, счастьем, осталось в каком-то немыслимом прошлом. Отчий дом на родной карельской земле. И другой дом, тоже ставший родным и любимым — в Ленинграде: филологический факультет университета. Всего год провела я в его стенах — но какой!

Все здесь было впервые: самостоятельная, «взрослая» жизнь в общежитии, вечерние занятия в библиотеке, профессорские лекции вместо поднадоевших за десять лет школьных уроков! А сколько открытий! Оказалось, напри-

мер, что языкознание, когда о нем рассказывает профессор Рифтин,— необычайно увлекательный предмет. Еще неожиданнее то, что увлекательным предметом оказался русский фольклор, к которому в школе я относилась весьма скептически. Когда о нем говорит профессор Азадовский, начинает казаться, что народное творчество достойно изучения, пожалуй, не меньше, чем творчество Блока, заниматься которым я так мечтала. Никогда не думалось, что фольклор — такое широкое поле для научного поиска! Кстати, Марк Константинович уже сейчас пытается приобщить нас, первокурсников, к этому поиску. Он ведет семинар, мы пишем первые в жизни курсовые работы. И меня даже ждет маленький успех: мой доклад о фольклорных корнях пушкинских сказок одобрен руководителем. В память об этом «событии» мне подарена книжка с дарственной надписью, а летом предложено принять участие в фольклорной экспедиции старшекурсников...

И вот теперь все это — где-то там, за горизонтом, утраченное, скорее всего, безвозвратно. А в настоящем — далекие, но все равно такие страшные залпы войны, тяжкие вести из родных мест, глухое северное село. И хотя приняли нас здесь приветливо, хотя живем мы в чистеньком и довольно уютном домике, а за окнами — роскошная «левитановская», никогда прежде невиданная осень,— на сердце наваливается тоска.

Я понимала, что нужно немедленно, сейчас же заняться делом, которое помогло бы отвлечься от горьких мыслей, почувствовать свою надобность суровому времени. Но какое дело здесь, в этой деревушке, где даже молодежи нет — одни старики и старухи? Мама почти сразу получила уроки русского языка в средней школе соседнего с нами большого села. Мне же смогли предложить только занятия по противовоздушной и противохимической обороне(!). Правда, до отъезда из Петрозаводска я помогала отцу (он заведовал кафедрой химии Карело-финского университета) вести занятия с населением города. Но кому они нужны здесь? Ведь ясно же, что никаких бомбежек в этой глубинке никогда не будет, а до химической войны, может, и вообще не доживем. Единственно сколько-нибудь полезным казалось мне непосредственное общение с соседями. Приносила и читала им газеты, как могла комментировала и преимущественно оптимистически интерпретировала информацию о текущих событиях, писала письма уехавшим на фронт сыновьям. И вот тут-то, во время наших бесед, вдруг выяснилось, что среди моих стариков, есть сказочник,

послушать которого в былые, «спокойные» времена сходились со всех окрестных деревень. И сразу вспомнились рассказы профессора Азадовского о мастерах сказки, его слова о необходимости поторапливаться с записью исчезающих «классических» фольклорных жанров. Так, может быть, это и есть дело, которое способно как-то оправдать мое сегодняшнее положение «не у дел»? Или сейчас, когда все летит кувырком, это просто детская забава? Если б можно было посоветоваться с Марком Константиновичем! Но разве дойдет сейчас к нему мое письмо? А если и дойдет — невозможно поверить, что в той жуткой обстановке, которая, по слухам, создалась в Ленинграде, он найдет возможным ответить какой-то полузнакомой первокурснице.

Но Марк Константинович ответил. Ответил большим письмом, в котором не только поддержал мои намерения, но и дал целый ряд конкретных рекомендаций относительно методики собирательской работы, советовал поинтересоваться не только «стариной», но и тем, что возникает в деревне сейчас, что вносит в поэтическое сознание война: «После ее окончания такому материалу цены не будет».

Не могу передать, как я была счастлива. Счастлива и благодарна. (Кстати, лишь много лет спустя я сумела до конца понять, какой мерой мужества и каким уровнем интеллигентности нужно было обладать, чтобы в обстановке блокадной ленинградской осени найти силы на такое письмо!)

Ответ Марка Константиновича не только придал осмысленность моему существованию здесь, но и в известной мере как бы запрограммировал всю последующую биографию военных лет: «Профессор Азадовский — мой Учитель!»

Это определяло главную направленность моих занятий и в те полтора года, что я провела в Сыктывкаре, где расположился Ленинградский университет, приславший мне вызов и, наконец, в родном Ленинграде, куда мы вернулись летом 1944 года. Писал в Сыктывкар Марк Константинович, писал в Саратов, писал в Ленинград. Знал обо всех моих делах, помогал советом, отвечал на недоуменные вопросы, подбадривал в минуты уныния. Под его незримым контролем я писала курсовые работы, собирала фольклор на Печоре, работала в саратовской, а затем в ленинградской библиотеках.

Зимой 1945 года я вместе с другими учениками профессора Азадовского встречала его на Московском

вокзале Ленинграда. Контроль перестал быть «незримым»! Мы все почувствовали добрую и вместе с тем довольно суровую хозяйскую руку.

За тридцать лет моей собственной педагогической работы в вузе я не раз вспоминала о нашем фольклористическом братстве. Особенно — во время всяческих собраний-заседаний, на которых «вечнозеленой» проблемой дебатировался вопрос о «мерах по улучшению воспитательной работы». Из года в год! Думалось: а какие «меры» принимал в свое время наш учитель, чтобы заставить нас хорошо заниматься и вести себя сообразно с этическими нормами цивилизованного общества? Да вроде бы никаких! Просто было очень стыдно ответить неблагодарностью на его человеческую заботу, сделать что-то не так, явиться на экзамен или зачет с «непереваренным» материалом — и не только к нему, но и любому другому преподавателю. «Ученик Азадовского получил двойку»! Просто подумать страшно, что могут так сказать. Вспоминаю одну трагическую историю, имевшую место, кажется, на исходе четвертого курса. К этому времени я уже два года ходила в сталинских стипендиатах и, по-видимому, успела на этой почве слегка «подраспоясаться». Во всяком случае, стремясь поскорее уехать на каникулы домой, я просто вынудила профессора Реизова принять у меня досрочно экзамен. Однако в ходе нашего диалога выяснилось, что я бойко датирую события начала XIX века его концом и наоборот, а из биографии великого Бальзака знаю (и то с помощью Чехова) лишь то, что он «венчался в Бердичеве». Убеждать меня в том, что для необходимой «по чину» пятерки этих знаний маловато, экзаменатору не пришлось: моя »карьера», по счастью, не лишила меня чувства юмора. Кстати, Борис Георгиевич в те времена тоже был человеком веселым, и когда я нахальным голосом пропела строчку из старинного романса: «Пусть эта встреча останется тайной», он не только не спустил меня с лестницы (дело происходило в его квартире), но даже закончил музыкальную строку, слегка ее перефразировав: «И поскорее повторится вновь!»

Мы мирно договорились о сроке пересдачи. Настроение у меня было превосходное: во-первых, я твердо знала, что выучить все эти даты и жизнеописания не составит труда, а во-вторых, самый мой провал, случившийся впервые в жизни, почему-то виделся только с комической стороны — этакое веселое приключение! И вдруг... А что, если узнает Марк Константинович? Если Реизов скажет ему: «Ваша-то хваленая провалилась у меня с треском!» И сразу все

перекрасилось в другие тона: нагло ворвалась в дом; оторвала человека от дела; нахамила, обозвав «чучелом» вальяжного хозяйского кота; продемонстрировала полную дебильность. И в итоге — еще чему-то радуюсь! Бр-р-р! И теперь уже без всякой бравады, с покорностью и просительностью нашкодившей первоклашки я пролепетала: «Борис Георгиевич, я все сделаю, все выучу, только не говорите Марку Константиновичу!»

Разумеется, профессор Азадовский не был на филфаке единственным центром притяжения. Система спецсеминаров группировала всех студентов вокруг руководителей, которые часто становились учителями «на всю оставшуюся жизнь». Отличие нашего семинара заключалось в том, что он включал учеников всех возрастов, считая от первого курса и до последнего года аспирантуры. Воспитательное значение такой структуры очевидно. Младшие сразу же попадали здесь в серьезную научную среду, что заставляло выкладываться изо всех сил; старшие чувствовали ответственность за начинающих, поневоле попадали в положение авторитетов, которое обязывает. И еще одно отличие — может быть, не от всех прочих семинаров, но во всяком случае — от многих. Наш учитель *любил нас*. Не только как более или менее способных учеников, от которых можно ждать в будущем какой-то отдачи, но и просто так, по-человечески, по-отцовски. И всегда пытался облегчить наше не очень-то уютное в те годы житье. Думаю, никто из нас не забыл веселых вечеров с домашней едой, которые устраивались для нас в тесноватой квартире на улице Герцена. Будущий член-корреспондент Академии наук Кирилл Чистов, будущие доктора наук — Николай Новиков и Алексей Соймонов, будущие известные журналисты и ревностные собиратели фольклора Дмитрий Молдавский и Владимир Бахтин, будущий доцент ЛГУ Ольга Гречина, наша бессменная хозяйка фольклорного кабинета, верная подруга Соймонова Галина Парилова. Все еще такие молодые, столь далекие от будущих чинов и званий, неухоженные и голодные, как молодые тигры. Тогда мне думалось, что единственная цель этих чаепитий — сплочение нашего маленького коллектива. Наш учитель очень ценил взаимопонимание, не терпел конфликтных ситуаций, которые хоть и нечасто, но все же иной раз возникали среди его учеников. В домашней обстановке, за щедрым столом мы и в самом деле становились ближе и добрее друг к другу. Лишь позднее я уловила еще один, «тайный смысл» застолий: Учителю

хотелось, чтобы в нашей голодноватой и холодноватой общежитской жизни иногда были праздники. А уж чего стоили эти «праздники» радушным хозяевам, особенно Лидии Владимировне, руками которой сооружался гостевой стол,—трудно представить: ведь профессорские карточки отоваривались не намного богаче, чем наши студенческие.

Впрочем, беспокойства мы доставляли немалые и в будние дни. Телефона, по которому можно было бы в крайнем случае сказать «Цыц!», у Азадовских не было, и мы вваливались к ним по всякому пустяковому поводу: получить очередной совет, информировать о сдаче экзамена, взять книжку. Кстати, о книгах. Помню, еще из своего сибирского далека Марк Константинович написал мне, что в Ленинграде в моем распоряжении будет его библиотека. По молодости лет я и тогда, и после нашей встречи в ЛГУ, когда обещание реализовалось, не могла полностью оценить необыкновенного доверия и щедрости моего учителя. Ведь книги, попадавшие в мои руки, часто были совершенно уникальны, им просто цены не было. А я уносила их в свою «общагу», где у нас на четырех человек было восемь квадратных метров, где один и тот же стол служил и письменным, и обеденным, где антикварную книгу могли запросто заляпать супом, откуда ее могли (без всякого злого умысла) прихватить случайно заскочившие соседи.

Однако при всей отеческой доброте Марк Константинович был достаточно суровым руководителем, скупым на похвалы, никогда не стеснявшимся резкого слова, если к тому были основания. Не забуду, как он разнес одно из моих семинарских сообщений. Тему я придумала сама («Женские образы в народной сказке») и результатом своих «научных изысканий», помнится, была вполне довольна. И вдруг — как ведро холодной воды: «Это не научная работа, а доклад к Восьмому марта». Обидно? В том-то и дело, что нет! Самая ядовитая ирония со стороны Учителя не вызывала самолюбивых эмоций. Совсем как в народной поговорке: «Бьет — значит, любит». Действительно, мы знали: ругает — значит, верит в то, что можем сделать лучше, значит, прыгнули ниже своих возможностей. Порой казалось даже, что Марк Константинович безжалостен в своих требованиях. Помню, я писала дипломную работу, посвященную народному анекдоту. Произведений этого жанра в русском материале зарегистрировано не так уж много, зато очень много — в украинском. Марк Константинович достал со стеллажа шесть увесистых томов Гнатюка («Анектоди») и ничтоже сумняшеся сказал: «Прочесть от

корки до корки. Срок — две недели». Естественно, я пришла в некоторое замешательство: «Марк Константинович, но ведь я не знаю украинского языка!» Не передать, какими глазами посмотрел на меня мой метр: «Что значит — не знаете? Постарайтесь — разберетесь». И впрямь: постаралась — разобралась.

Столь же суров бывал Учитель, когда мы допускали какие-то промахи этического порядка или просто высказывали соображения, расходящиеся с его представлением об интеллигентности. Так, однажды в разговоре с ним я обмолвилась, что хотела бы остаться работать в Ленинграде. Мне не казалось, что в этом желании есть какой-то криминал: я отнюдь не руководствовалась соображениями «престижности» (тогда и слова такого не было в обиходе), а лишь искренней, глубокой привязанностью к городу и университету, который мы своими руками поднимали из руин. Однако в ответ я услышала жесткую отповедь, смысл которой сводился к тому, что стремление обязательно жить в столицах недостойно интеллигентного человека, что презрение к работе на периферии — обывательская спесь и проч. Не знаю, насколько прав был тогда Марк Константинович в своей категоричности. Но знаю, что когда на комиссии по распределению молодых специалистов я, свежеиспеченный кандидат наук, отвергнув предложение остаться в Ленинграде, в ЛГУ, заявила о желании вернуться в Петрозаводск, в числе причин, обусловивших этот странный в глазах комиссии выбор, была и память того разговора.

Марк Константинович не был моим единственным руководителем в университете. В течение года я занималась в интереснейшем семинаре профессора Г. А. Бялого, аспирантуру заканчивала у замечательного ученого — В. Я. Проппа, память о котором для меня священна. Но тем, что я оказалась обручена с фольклором, тем, что состоялся «брак по любви» и любви на всю жизнь, тем, что в моей 30-летней вузовской работе, в общении с собственными учениками всегда был четкий образец для подражания,— всем этим я обязана моему первому вузовскому учителю — М. К. Азадовскому.

Д. М. МОЛДАВСКИЙ

СКВОЗЬ ЛИНЗЫ ВРЕМЕНИ

Пишу об учителе. О строгом, добром, мягком, требовательном... Об ученом, к работам которого возвращаюсь неизменно. Его двухтомная «История русской фольклористики» у меня постоянно под рукой. Его сборники «Русские сказочники», «Сказки из разных мест Сибири», «Сказки Верхнеленского края», «Ленские причитания» и другие и сегодня на виду, как и работы о Пушкине, Тургеневе, Белинском, о Лермонтове, Добролюбове, о декабристах, о художнике П. Федотове...

М. К. Азадовский был не только большим ученым и — смею утверждать! — настоящим, ярким писателем; он был одним из организаторов науки и учителем, щедро раздававшим свои мысли благодарным (впрочем не всегда!) ученикам...

В 1939—1940 учебном году курс русского фольклора читался в первом семестре. В расписании было написано кратко: «Фольклор. Профессор Азадовский М. К.». Сочетание этих слов осталось в памяти. Марк Константинович читал свой курс нам, первокурсникам. Это был настоящий университетский курс, и мы долго не могли понять, что затянувшееся, как казалось нам, вступление к этому курсу — то есть история русской фольклористики — было, может быть, самым серьезным и важным из того, что мы слышали в университете.

В свой курс Марк Константинович включил все сложнейшие вопросы не только истории литературы, но и истории русской общественной мысли — и екатерининские реформы, и любомудров, и западников, и славянистов, и революционных демократов.

Когда много лет спустя, уже после смерти М. К Азадовского, этот курс, ставший двухтомной книгой, вышел в свет, я писал в рецензии, названной «Энциклопедия народного творчества»: «Настоящий ученый — человек, живущий интересами и волениями времени, тысячью нитей связанный с передовыми идеями общества. Девять лет прошло после смерти замечательного ученого-фольклориста, литературоведа, историка М. К. Азадовского, но продолжают выходить его книги, имеющие первостепенное значение для современной литературы... Вышел второй том знаменитой «Истории русской фольклористики» М. К. Азадовского— работы, которая была делом жизни ученого. По сути

дела, эта книга — гимн великой демократической народной литературе. Это книга о Пушкине, Лермонтове, Некрасове, о прогрессивной науке, о передовой общественной мысли. На огромном материале историк, филолог, литератор М. К. Азадовский сумел показать не только формирование прогрессивного понимания народного творчества, но и общественную несостоятельность и художественное бесплодие ученых и литераторов, попавших в русло буржуазных и мещанских представлений о фольклоре. Он первый в истории фольклористики показал, что работы Герцена, Белинского, Чернышевского были вкладом не только в литературу — это были работы настоящих ученых. Книга писалась много лет. И завершена она была десятилетие назад. За это время появились новые работы, созданные не без влияния статей и книг Азадовского. Но значение «Истории русской фольклористики» не уменьшилось. Выход ее — событие в филологической науке»[1].

Одновременно читали нам и другие профессора. Введение в литературоведение вел Григорий Александрович Гуковский — блестящий ученый и лектор. Академик А. С. Орлов, не часто отзывавший о ком-нибудь без иронии, говорил благосклонно: «Семнадцатый век еще ждет своего Гуковского».

Читал он блестяще, с той великолепной небрежностью, которую так ценят молодые слушатели. Входя в заполненную аудиторию, небрежно спрашивал: «Нет ли у кого из вас сборника Мандельштама или Пастернака?»

Ни Пастернака, ни Мандельштама ни у кого не было. Тогда он брал из рук стоящей тут же наготове Марии Семеновны Лев — секретаря факультета — однотомник Пушкина и начинал разбирать стихотворение за стихотворением.

Лекции его завершались овациями, сперва очень шумными, а потом чуть тише... А вот Марку Константиновичу — человеку, на лице которого застыл какой-то вежливый испуг,— овацию мы устроили на последней его лекции, когда наконец-то поняли, что этот нервный человек, робко поглядывающий в зал, дал нам собственно основу всех знаний, постарался вложить в наши стриженые под полубокс головы и материал, и мысли.

В нашей группе (и в соседней группе русистов) были ребята в основном ленинградские, некоторых я и раньше встречал на публичных лекциях Г. Гуковского, Л. Пумпянского, С. Мокульского, Н. Пиксанова и других — мой приятель Володя Баскаков, впоследствии писатель-прозаик

и видный киновед; Миша Ромм, позднее педагог и искусствовед; Альберт Ручьевский (за любовь к преувеличениям мы звали его Альбрехтом), журналист и киноактер; Галя Жаворонкова, литературовед; Георгий Молотков, журналист... Из приезжих у нас была одна Ира Семенко — она приехала с Украины. Но, если не считать ее некоторого украинского акцента, она была типичной ленинградской девушкой, прекрасно знающей поэзию и театр. Постепенно мы узнали, что она дочь украинского поэта-футуриста М. Семенко, друга Маяковского. Узнали мы, что отец ее был арестован... По-видимому, это знали и наши преподаватели. Вероятно поэтому все они, и Г. А. Гуковский, и Н. К. Пиксанов, и Марк Константинович, относились к ней с подчеркнутой приязнью. Впрочем, судя по всему, она была человеком одаренным — ее доклады и сообщения вызывали неизменный интерес.

Надо сказать, что все мы были людьми любознательными — иногда ходили на интересные лекции на других факультетах. Помню, как попал на занятия по египтологии, где студенты постигали тайны иероглифов.

Ходили мы и на защиту докторской диссертации А. И. Молоком. Официальным оппонентом был академик Е. В. Тарле, который, хорошо помню, корил ученого за чрезмерно большую по объему рукопись и говорил, что занимаясь в архивах, не следует забывать и газетные материалы...

Не занятия при кафедре фольклора мы пошли вместе с однокурсником и приятелем В. Баскаковым. И получили каждый свою тему: В. Баскаков должен был заняться легендами о Чапаеве, а мне предложено было сделать доклад на тему «Гаршин и фольклор».

Моя будущая жена училась тогда в Горном институте; она брала в библиотеке те самые книги по этнографии, которые, возможно, держал в руках Гаршин, учившийся некогда там же.

Мы с ней обходили дома, где квартировал Гаршин, бродили по задним дворам и лестницам.

Был я и на защите докторской диссертации А. Дымшица — именно там я познакомил маму с будущей женой.

Защита превратилась в побоище — Дымшица старательно проваливали Б. Эйхенбаум, Г. Гуковский и еще кто-то, ругали его за упрощенный, как им казалось, взгляд на Маяковского. Их поддерживали какие-то «учителя из публики».

Обратно мы ехали в одном автобусе с Г. Гуковским; он был смущен и старательно оправдывался перед какой-то дамой. Речь шла, конечно, не о Маяковском — статьи Дымшица о поэте были широко известны всем нам, за всем этим стояло что-то другое — память о каких-то былых спорах. О чем именно, я никогда не спрашивал у Александра Львовича, хотя дружил с ним много лет. Провал был, по-видимому, предрешен — в публике я видел людей, которые явно пришли «на зрелище». Ни раньше, ни позднее я никогда не видел их в стенах университета — поэта Мариенгофа с актрисой Никритиной, его женой, каких-то старьньких поэтов-переводчиков.

Марк Константинович голосовал за диссертацию. Мы знали это от него самого и от П. Н. Беркова. Оба они были огорчены, что «побочные отношения» вдруг прорываются в науку.

Вообще, Марк Константинович был человеком доброжелательным, и степень научной целесообразности была решающей для его оценки той или иной работы. Мы были огорчены вдвойне потому, что А. Л. Дымшиц был, кажется, единственным преподавателм, который дружил со студентами, зпросто прогуливался с ними, закусывая беседу пирожками, купленными на уличном лотке.

Азадовский критиковал книгу Дымшица «Литература и фольклор» за публицистичность, но некоторые ее разделы — в частности, о Маяковском и народном творчестве — включил в список обязательной литературы.

Когда я делал доклад «Гаршин и фольклор», Марк Константинович пригласил на него Г. А. Бялого — специалиста по литературе конца прошлого века. Умение вселить в первокурсника уважение к самому себе и своей работе было непременной чертой учителя. И величайшая корректность по отношению к другим ученым!

По программе мы посещали семинар В. Я. Проппа. И старательно развинчивали, складывали и вновь собирали из отдельных деталей русские, таджикские, немецкие, зулусские и прочие сказки. Как мы могли догадаться, теории Проппа Азадовскому не могли нравиться. Но никогда, ни при каких обстоятельствах он не позволил себе сказать о Владимире Яковлевиче что-нибудь ироническое или неуважительное, наоборот, он всегда говорил, что в науке могут быть разные пути и существование их просто необходимо.

* * *

Занятия шли до самой войны. Летом 1941 года я должен был ехать в экспедицию на Печору. Но началась война. В очерке о блокаде я писал о встрече с Марком Константиновичем блокадной зимой...

Уже потом, выехав с другими дистрофиками по ледовой трассе из блокадного Ленинграда и протащившись в теплушке через всю страну, я попал в Таджикистан. Оттуда при посредстве Н. К. Пиксанова, который взял на себя нагрузку «академического связного», узнал иркутский адрес Марка Константиновича. Я написал ему о себе, о своих занятиях. Письмо дошло. Отрывок из него Марк Константинович опубликовал в своей работе военных лет «Письма молодых фольклористов» ...Позднее я закончил Сталинабадский пединститут им. Т. Г. Шевченко и вернулся в Ленинград — Марк Константинович предложил мне идти в аспирантуру к нему.

Я подал заявление на кафедру фольклора. И мне, как, впрочем, и Марку Константиновичу, казалось, что вопрос уже решен — я сдам экзамены и стану полноправным аспирантом. Все дело, казалось, было в теме...

Но не тут-то было.

Всех, подавших заявления, принимал ректор университета А. А. Вознесенский, брат того знаменитого Н. А. Вознесенского, члена Политбюро. Ректора в обиходе называли «персона брата» и все без исключения относились к нему уважительно; был он человек знающий и справедливый. Нас собрали в его приемной. Ректор задерживался. Наконец он, седовласый человек в великолепном по тем временам синем пальто, появился с круглым перевязанным пакетом вроде арбуза. Я прошептал сидящему рядом со мной парню: «Сейчас закусим». Сосед криво ухмыльнулся. Секретарша сказала, обращаясь ко всем нам: «В кабинете лежит ковер. Обязательно ступайте на него, а не обходите... Не будьте провинциалами...» Я с удивлением взглянул на окружающих и увидел, что это совсем не те люди, с которыми я учился в университете до войны. Раньше все были в основном питерские мальчики и девочки, набитые стихами, цитатами из романов и статей, прошедшие студии Дворца пионеров и различных литературных кружков, завсегдатаи лектория на Литейном, эрмитажных курсов и театральных обсуждений. Сейчас вокруг меня сидели робкие, помятые войной люди или шустрые провинциалы,

надеющиеся не так на свои таланты и знания, как на несокрушимость своих анкет.

Мой разговор с ректором был краток. Взглянув в мою анкету, он сказал, что боится, что знания, полученные в провинциальном педвузе, маловаты, но, во всяком случае, он поговорит с моим будущим руководителем профессором М. К. Азадовским.

Марк Константинович пошел к ректору.

И меня приняли.

Но когда «дела» были отправлены в Москву, москвичи, очевидно, мельком увидев в списке моих печатных работ перевод таджикского эпоса «Гургули» — была у меня такая крошечная книжица — утвердили меня... на кафедру иранской филологии.

Марк Константинович снова пошел к ректору. Снова говорил обо мне. Но лишь через полгода вопрос был улажен.

Впрочем, все это время я посещал семинар по фольклору и даже выступил оппонентом по докладу Иры Лупановой о народной сатире — я два дня просидел в университетской библиотеке и поднял такие материалы, что и сейчас иногда прибегаю к ним.

* * *

Мы все знали, что область интересов Марка Константиновича очень широка. Он занимался фольклором, историей литературы, живописью и историей декабристов. И нас «натаскивал» прежде всего на широкое видение мира.

Помню, как он невзначай спросил одну нашу аспирантку, какой у нее любимый театр. Девушка, моргнув накрашенными ресницами, гордо произнесла полный титул и звание «самого главного» и самого скучного театра в городе. Марк Константинович пришел в ужас — как и все ленинградцы он любил Театр Комедии, искрометные постановки Н. П. Акимова, блистательно ставившего и Шекспира, и Лопе де Вега, и Евгения Шварца,— а этот театр был для него синонимом посредственности (хотя многих актеров этого театра он, разумеется, очень ценил). Но тут девушка забормотала еще что-то о «формализме», о мнимой внешней декоративности. Марк Константинович сразу поскучнел. Он, конечно, ценил Н. П. Акимова не только как режиссера, но и как художника — ведь сам он блестяще разбирался в живописи, и его работа о П. Федотове, вышедшая еще до революции, и сейчас представляет интерес. Дома у него висели акварели В. Конашевича — иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина, и большое полотно И. Машкова

«Натюрморт», очень яркое, излучающее свет и энергию — этакое маленькое домашнее солнце.

Азадовский очень внимательно следил и за современной литературой. И требовал того же от нас. В мой минимум, кроме специальных вопросов по истории фольклористики и по этнографии, был включен спецкурс «Сатира Ильфа и Петрова». Когда Марк Константинович прочитал «Звезду» Э. Казакевича, а потом его же «Двое в степи», он заговорил о тургеневской школе и о своем желании написать об этом писателе...

Я напечатал рецензию на «Двое в степи». Ее поместила комсомольская газета «Смена». Это, кажется, была единственная положительная рецензия на эту повесть — все остальные авторы дружно ее бранили. На филфаке затеяли обсуждение этой вещи и вывесили список литературы — моя хвалебная рецензия была рядом с работами суровых критиков. Но обсуждение, к счастью, не состоялось, и Марк Константинович увещевал меня: «Защититесь, а уж потом лезьте в бутылку».

В последние дни жизни, когда он лежал уже совсем больной, обреченный, я навестил его — разговор зашел о Николае Островском. И Марк Константинович, воспитанный на Тургеневе, Чехове, Бунине, вдруг сказал: «А пожалуй, мы недооценивали Островского — сейчас я его понимаю лучше, чем когда бы то ни было. Голова работает, а проклятое тело бессильно».

Он хорошо знал поэзию и девятнадцатого века, и начала двадцатого, в том числе поэтов, связанных с Маяковским. Я видел у него сборник сибирского футуриста Божедара, не раз брал и перечитывал комплект журнала «ЛЕФ» (без одного номера).

Он ценил поэзию сибиряка Леонида Мартынова и, мне кажется, что имя этого поэта я вообще впервые услыхал от Марка Константиновича.

Но главным, конечно, было народное творчество. Мы беспрерывно обсуждали новые работы по фольклористике, выслушивали сообщения и доклады наших товарищей. Собеседования проходили то в кабинете фольклора, то на дому у Марка Константиновича.

Рабочие планы аспирантов да и вообще учеников по замыслу Марка Константиновича закрывали те или иные «белые пятна» на карте истории фольклористики. Эта работа начиналась в студенческом кружке и продолжалась до защиты диссертации.

На занятиях присутствовали обычно аспиранты и сотрудники кафедры К. Чистов, В. Новиков, А. Соймонов, Г. Парилова и студенты — самым молодым был Володя Бахтин. Обязательно присутствовала на них и зав. кабинетом Н. Колпакова, известная своими записями северных песен. (В начале войны я вместе с ней дежурил на крыше и мы с Баскаковым — да простится это нам! — пугали ее тем, что время от времени с грохотом швыряли о железные листы кирпич или какую-нибудь доску. Настоящих бомбежек она боялась гораздо меньше.)

Но какими бы вопросами теории мы ни занимались, каждый из нас должен был побывать в экспедиции и привезти свои записи песен, сказок или былин.

Мне надлежало ехать вместе с диалектологической экспедицией А. П. Евгеньевой в западные районы Псковской области, еще сравнительно недавно входившие в состав буржуазной Латвии. Для этого мне нужен был один или два спутника-студента, которые могли бы быть включены в состав нашей группы.

Я давно обратил внимание на весьма приметную пару — на «первую красавицу курса» (тогда еще не говорили «мисс Европа» или «мисс факультет») и ее спутника— парня с громадным коком черных волос и всеми ухватками довоенного студента-филолога.

Я подошел к ним в перерыве между лекциями, и мы немного поговорили о том, о сем — о рассказе Г. А. Гуковского, как он когда-то побывал в театре Мейерхольда на репетиции «Клопа» Маяковского, о знаменитых ответах академика А. С. Орлова — мы любили задавать ему самые невероятные вопросы и выслушивать его короткие реплики («Астахова? Азадовский в юбке!»), о романах Ильфа и Петрова — собеседники знали их наизусть, о чем-то еще...

Тут я с высоты своего аспирантства объяснил им, что самое главное все-таки — это фольклор и что каждый порядочный филолог должен побывать в фолькорной экспедиции. И предложил им ехать со мной в Псковскую область.

Девушка согласилась немедленно, а потом так же неожиданно отказалась, а парень, сперва сказав, что он, собственно, хочет изучать не былины и сказки, а литературу пушкинской поры, согласился.

И мы поехали.

Теперь работы фольклориста Владимира Бахтина широко известны. Немало написано и о наших экспедициях — в Псковскую и Новгородскую области. Опубликованы тексты и наши рассказы о поездках. Но тогда об этом знали всего несколько человек. И хотя Марк Константинович сразу очень одобрил сделанное нами, издать записи нам не удавалось. Псковское издательство, сгоряча заключив с нами договор, потом от сказок отвернулось. На обсуждении какой-то «местный деятель» не то Перфильев, не то Панфильев и «ученый профессор» Яков Назаренко обвиняли наши сказки в идеализации старины, в мистике и вообще в безыдейности.

Марк Константинович огорчился больше нас. И очень обрадовался, узнав, что неудача нас не расхолодила.

Он особенно много говорил с нами накануне поездки, стараясь предусмотреть все, с чем мы можем столкнуться, затрагивая самые, казалось бы, мелочи. В частности, он рассказал, что В. К. Арсеньев некогда учил его никогда не записывать тексты чернильным карандашом. Однажды лодка знаменитого путешественника перевернулась, и все его дневники превратились в чистенькие страницы.

Вообще об Арсеньеве Марк Константинович рассказывал много раз. И я был несказанно рад, когда, увы, уже после смерти Азадовского, прочитал его уже знакомые нам рассказы в книге «В. К. Арсеньев — путешественник и писатель», книге, которую я назвал в рецензии «блестящим соединением этнографического очерка и литературоведческого исследования».

«Ленинградский ученый М. К. Азадовский широко известен в научном мире — его перу принадлежат работы по фольклористике, этнографии, истории декабристов, искусствоведению и др. Уже после его смерти вышли из печати многие его исследования. В их числе книга «В. К. Арсеньев — путешественник и писатель»... В этой книге рассказывается о трудном и благородном деле ученого, который прошел тысячи верст по неисследованному краю, собрав исключительный, уникальный материал. Автор книги показал, что одна из причин успеха В. К. Арсеньева — в подлинной его народности, что он «очень быстро стал популярен у местных обитателей и быстро завоевал их любовь и доверие. На всей территории огромного края гольды, орочи, удэгейцы и бедняки-китайцы следили... за маршрутами Арсеньева, готовые немедля кинуться ему на помощь...» Многогранный образ путешественника раскрыт М. К. Азадовским не только на материалах книг и статей

В. К. Арсеньева и других знатоков Уссурийского края. Сюда вошел богатейший архивный материал и, что особенно радует, материал книг советских писателей А. Фадеева, Джанси Кимонко, С. Бытового, Ю. Шестаковой и др. Книга об Арсеньеве кончается словами: «Этнограф не может и не имеет права быть бесстрастным наблюдателем». Сам М. К. Азадовский был не только человеком огромных знаний, он обладал подлинной страстью исследователя — об этом свидетельствует его работа о В. К. Арсеньеве»[2].

* * *

Я часто бывал у него дома и на даче.

Дачу он снимал в Кавголово. И мы с женой как-то весной поехали к нему. Но весенний воздух, да и авитаминоз сморили нас и мы, не дойдя до его дачи, тут же у самой тропинки улеглись и заснули. И пришли к нему гораздо позже, чем должны были прийти. И честно рассказали ему об этом... Он сказал, что это — «пережиток блокады».

Разговор шел о моей диссертации. Называлась она «Русская плутовская сказка» — о сказках с предприимчивым солдатом, мужиком, батраком и пр., которые обманывают своих сильнейших противников. На базе этих сказок возникла русская национальная повесть XVI—XVII веков. Я перечитал все сборники текстов и был отправлен Марком Константиновичем в архивы — Пушкинского дома и Географического общества. Именно в Географическом обществе, в Демидовом переулке, я купил многие редкие издания этого общества и в том числе замечательную книгу, с которой никогда не расставался,— «Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне», созданный Н. П. Андреевым.

Обо всем этом я рассказал на даче. Все это Марк Константинович одобрил.

Он был сам страстным библиофилом и ценил эту страсть у своих учеников.

Впрочем, в отличие от других библиофилов, он собирал книги направленно — по профессии — по фольклористике и этнографии. Но так как он занимался еще историей русской литературы XVIII и XIX веков, декабристами, был крупнейшим специалистом по «сибиристике», то библиотека у него была огромная. И я очень любил рыться в его книгах, неизменно добираясь до издания Поджо Браччолини «Фацетии» (выпущено издательством «Academia» на правах рукописи) и читал эти смехотворные новеллы объемом часто в страничку или в два-три абзаца.

В отличие от других библиофилов, Марк Константинович охотно давал для работы свои книги и сотрудникам сектора фольклора, и нам — аспирантам.

Его жена Лидия Владимировна наводила порядок в его разбросанной библиотеке и строго следила, чтобы книги возвращались на место.

Анна Михайловна Астахова шутливо говорила: «С тех пор, как в этом доме появился библиограф — жизни не стало!»

Обращались к уникальной библиотеке Азадовского и другие ученые — В. М. Жирмунский, Н. П. Андреев и пр.

С бородатым Андреевым я познакомился у книжных полок Марка Константиновича.

* * *

Известно, что к работам М. К. Азадовского с интересом относились и М. Горький, и А. Толстой, и Ромен Роллан. Очень почтительно говорили мне о М. К. Азадовском П. П. Бажов, Е. Л. Шварц. Вообще Марк Константинович был в литературной среде весьма уважаем. На обсуждении военной прозы в Ленинградском Союзе писателей вскоре после войны выступал В. Каверин. Выступал резко, сказал, что за исключением одной-двух книг, все написанное пока обычные заметки — материал для будущих романов. Спускаясь со сцены в возбужденный зал, он демонстративно подошел к Марку Константиновичу и пожал ему руку.

* * *

Отношения у нас с Марком Константиновичем были дружеские и, конечно, шире научного общения. Моего сына звали на елку к сыну Марка Константиновича, разговоры наши выходили за пределы академического круга тем и пр.

Однажды он попросил проводить его в Дом творчества писателей в Келломяках (позднее этот дачный поселок назвали Комарово). Было это в 1945 году, зимой. Я встретился с Марком Константиновичем у входа на Финляндский вокзал, взял из его рук небольшой чемодан и хотел пойти в зал ожидаия. Но тут Марк Константинович с таинственным видом сказал, что у него здесь есть одно очень важное и неотложное дело и, озираясь, повел на платформу. На замерзшей платформе не было ни души, но мы двинулись в самый ее конец. Здесь стояли редкие скамейки, и когда мы подошли к крайней из них, самой отда-

ленной, Марк Константинович, оглянувшись и увидев, что вблизи никого нет, раскрыл чемодан и извлек оттуда пару валенок. Он попросил сесть так, чтобы его не было видно со стороны платформы. Осторожно снял ботинки и натянул валенки. После этого он спрятал свою городскую обувь в чемодан и, так же таинственно улыбаясь, двинулся в зал ожидания.

Подали состав. Пассажирские поезда возили по этой линии паровозы, в вагонах было прохладно. Мы сели друг против друга у замерзшего окна, и поезд двинулся.

Марк Константинович сказал, что он ездил по этой дороге много лет назад, когда еще до революции студентом побывал в Финляндии (он назвал станции впереди — Олила, Куоккала, Келломяки, Териоки, Мустамяки и др.). Не помню, с чего начался разговор, но помню, как Марк Константинович сказал, что в то время в Суоми были маленькие ресторанчики, где брали деньги лишь за одну рюмку водки, закуска была бесплатной и можно было спокойно есть, сколько влезет. И что русские студенты, обычно бедняки, порой злоупотребляли этим — ведь на столах стояли блюда с ... Я представил, что стояло на столах, и проглотил слюну!

Дело в том, что я, пережив в Ленинграде зиму 1941—1942 годов, все последующие годы жил, мягко говоря, не очень сытно. Кроме того, мне было лишь двадцать пять лет, и до блокады я не отличался дурным аппетитом.

Короче говоря, рассказ Марка Константиновича вызвал у меня сильное желание перекусить. И чтобы перевести разговор с этой приятной, но опасной темы, я спросил почтительно, как и положено начинающему фольклористу у своего учителя: «А приходилось ли Вам записывать какие-нибудь финские обряды?» Марк Константинович сказал, что тогда не записывал — это было позднее, когда его интересовали рунопевцы и карельские сказители. Но один интересный эпизод запомнился.

Он снял комнату в маленьком домике, в финской семье. В день, когда он переехал туда, у хозяев было большое оживление — ждали сватов к дочке. Не успел Марк Константинович положить свой баульчик, как к нему в комнату вошли молодые парни, родственники хозяина, и сказали: «Пойдемте на крыльцо, покурим». Марк Константинович сказал, что он некурящий, и они ушли.

Но тут же вернулись и снова позвали его на крыльцо. Он снова отказался.

Но когда они пришли за ним в третий раз, Марк Кон-

стантинович сообразил, что за этим что-то кроется, и вышел вместе с ними. Оказалось, что в этой местности есть обычай — женщины во время сватовства сидят в комнате, пьют кофе и беседуют, а мужчины выходят на крыльцо покурить и говорят о своих мужских делах... «Ну, а потом нас всех позвали в комнату и началось такое угощение, Дима!»...

Тут я почувствовал уже настоящий голод. И чтобы снова отвести эту волнующую тему, сказал: «Марк Константинович, а как вы ездили в свою первую экспедицию за сказками?» Он охотно ответил: «Очень просто ездил. В Иркутске была булочная, где выпекали булочки, которые можно было заморозить, а потом положить на печку, и они становились как только что испеченные... Ну, кроме того, мне дали с собой пельмени — вы ведь знаете, что в Сибири пельмени делают впрок, тысячами, сотнями».

Но тут мы подъехали к Келломякам, спустились на низкий перрон и пошли через заснеженные пустыри к неярким огням деревянного дома с башней, типичного для дореволюционной дачной архитектуры. (Спустя несколько лет писатель Леонид Пантелеев сказал мне, что мальчишкой до революции он жил с родителями рядом с этой дачей — она называлась «Ваза» — на фронтоне ее высился сосуд с двумя ручками.)

Но тогда мы «Вазу» не рассматривали. Отряхнув валенки, вошли в теплую прихожую, а потом в большую светлую комнату, где уже был накрыт стол.

Женщина в белом халате, как возникший символ гостеприимства, небрежно взяла путевку (и, кажется, продовольственную карточку), показала на стол.

Там стояли сахарница, большая масленка и блюдо с хлебом. Марк Константинович посадил меня в кресло напротив себя и, дождавшись, когда сестра-хозяйка принесла большую тарелку, где лежали котлеты с макаронами, вдруг сказал: «Что-то мне не хочется есть».

Но когда сестра-хозяйка, выразив по этому поводу скорбь, уже повернулась, чтобы уйти вместе с тарелкой, Марк Константинович так же вежливо сказал: «Но может быть мой спутник не откажется от этого?»

Через пять минут, съев все, что было на столе, я откинулся в своем кресле. И тут я увидел, что Марк Константинович смотрит на меня, с трудом сдерживая улыбку...

* * *

Однажды Марк Константинович меня сильно обругал, очень сильно. Так сильно, что я помню до сих пор! Он попросил меня прочитать корректуру его книги или большой статьи. Я прочел ее, как читал и свои корректуры — т. е., увы, достаточно бегло, видимо, пропустив опечатки и описки.

Читая корректуру после меня, Марк Константинович все это обнаружил. И глядя на меня своими синими глазами, сказал очень спокойно и холодно: «Нехорошо вы проверили корректуру, Дима! Нехорошо».

И все! И ни слова больше! И до того и после того меня ругали устно и письменно, на улице, с трибуны, в общежитии. А вот это «нехорошо» я не забыл...

Ругал меня Марк Константинович и по другим поводам. Речь шла о моих статьях. Ему порой не нравились мои оценки, иногда вся система взглядов. Но это другое дело — это был остроумный разбор, когда опытный и умный конструктор берет макет подручного и несколькими движениями показывает, как следует его исправить или улучшить.

А когда он хвалил меня — это тоже бывало — он и хвалил тоже конструктивно, оставляя место для усовершенствования и доработок. Такой разговор был у него со мной после выхода статьи «Живое творчество и мертвые традиции». Мы написали ее вместе с Ольгой Гречиной, аспиранткой нашей кафедры. Ее опубликовал журнал «Звезда».

Статья была направлена против так называемого «советского фольклора». Теперь этот вопрос решен окончательно — вряд ли кому-нибудь придет в голову всерьез говорить о «сказ-поэмах», «новинах» и пр.

Но тогда сомневаться в существовании «советского фольклора» не полагалось.

Очень немногие действительно существовавшие легенды или песни о выдающихся людях или событиях революции тонули в массе сырого, антихудожественного материала — в лучшем случае неумелых импровизациях сказочников (под нажимом собирателей), а чаще откровенных подделках.

Классическим примером собрания такого рода был сборник «Творчество народов СССР» (М., 1937), куда в качестве народного творчества были включены песни современных поэтов и композиторов, (к тому же часто невысокого качества), но главным образом связанные с одним именем... Конечно, были в этом издании и подлинные материалы.

Но не они определяли стилистику книги. Мы вступили в полемику с этим изданием. Но говорили в своей статье о другом. В главках «На ложном пути», «Опошление современности» и т. д. мы писали:

«Попробуйте представить себя одетым в костюм XVI века или в костюм какой-нибудь оперы, посвященной событиям этих далеких лет. Вы идете по сияющим, залитым электричеством улицам нашего города. Мимо вас проходят троллейбусы и автомобили... А вы плететесь в тяжелых, пропахших нафталином одеждах, привлекая выразительные взгляды сердобольных прохожих. Именно такого рода ассоциации вызывают у нас попытки некоторых фольклористов и сказителей воссоздать советскую действительность в псевдосказочных и псевдобылинных образах:

Уж как стал он всему народу учителем
в образованьице,
В образованьице, в премудром обученьице,
Уж как стал он свыше мудреца-северянина
Ломоносова,
Уж как мудрее он был восточных филостохов.

Кто бы мог догадаться, что в этих пародийных строчках речь идет о Максиме Горьком? А между тем, сии перлы приведены из «Пропеваньица про сочинителя премудрого», приписываемого Марфе Семеновне Крюковой. Величайший современный писатель превращается здесь в «учителя образованьица», большая тема изображения славного современника подана как прямая издевка... В 1948 году в Чкалове вышел сборник А. Бардина «Советский фольклор Чкаловской области». В сборник были включены очень неплохие частушки, довольно оригинальные песни. Но составитель не ограничился этими жанрами. Следуя традиции «поисков нового в старом», он обратился к «новинам» и «плачам». Здесь следует дать терминологическое пояснение. Под «новинами» обычно подразумеваются нелепые пародии на былины, построенные на спекуляции самыми дорогими, самыми любимыми именами больших советских людей... Итак, А. Бардин пришел к «новому эпосу»... Он попросту занялся превращением своих знакомых в сказителей. Ветеринарные врачи, студенты, учителя однажды утром, проснувшись, узнавали, что они — самые что ни на есть исконные народные сказители... Дело, конечно, не в том, студентка Подгора или нет. С той же точки зрения интерес представляет также опубликованная в «Степных огнях» сказка «Про гитлерище поганое», которую, судя по коммен-

тариям, записала от колхозника Ташевского (87 лет) студентка Р. М. Ушакова. Вот что говорит герой сказки Гитлеру:

Для вашего поганого величества
У нас есть другое количество:
Сорок кадушек дохлых лягушек,
Сорок стаканов сухих тараканов.

Не вдаваясь в художественную оценку реплики, заметим, что вся сказка целиком и полностью списана с раешника, сложенного Е. И. Сороковиковым-Магаем («Новые сказки». Бургиз, 1942. С. 15—17). Напрасно позорили 87-летнего старика мелкие плуты от фольклористики, приписывая ему то, что сами своей рукой списали не то из детской книжки, не то из отрывного календаря. Вместе с народным творчеством издевательству и глумлению предается в таких «сказ-поэмах» сама современность. Если прочитать «труды» Виктора Попова, долгие годы работавшего «около» Марфы Крюковой и пагубно влиявшего на ее творчество, А. Бардина и десятка их коллег, то картина социалистической деревни возникает перед нами не такой, какой она является в действительности... К числу не столько искателей, сколько «создателей» нового народного творчества относится фольклорист Александр Гуревич. Метод его творческой работы не особенно сложен. Берется первый попавшийся гражданин. Засыпается вопросами. Ответы записываются. Затем извлекаются ножницы и клей. На отдельных листах пишутся художественные подробности, уже свои, гуревичевские. Все это режется, перемешивается, клеится, и вот — народный сказ готов. Впрочем, в своей статье «Как записывать и обрабатывать устные рассказы» Александр Гуревич сам поделился подробностями своего рабочего «метода».

Все это было на поверхности, но кое-что нам подсказал Марк Константинович.

Но, повторяю, до публикации («Звезда». 1949. № 2) статью он не видел. Уже позднее он показал мне письмо сибирского поэта и фольклориста А. Ольхона, где тот писал, что «полностью, как все иркутяне, солидарен с известной, вероятно, Вам статьей в «Звезде»...» Сейчас это письмо опубликовано[3].

Опубликовано и другое письмо, где А. Ольхон писал, что О. Гречина и я — молодцы, что «статья по фольклору умная и нужная»[4].

Но, увы, эту точку зрения разделяли не многие — защитить диссертацию мне не дали. Ругали Ольгу Гречину и, заодно, Вл. Бахтина, который к этой статье отношения не имел...

А вскоре в той же «Звезде» появилась статья за подписью Ф. Абрамова и Н. Лебедева, где говорилось «о небезызвестных литературоведах — Б. М. Эйхенбауме, М. К. Азадовском, Г. А. Гуковском и др.» — все они обвинялись в низкопоклонстве, формализме, протаскивании реакционных идей — каких неважно — «наступление шло» широким фронтом на «реакционного критика» Шевырева и Шопенгауэра, на Пастернака и Фета.

В статье было сказано об М. К. Азадовском: «В своем увлечении компаративистским методом этот ревностный поклонник Веселовского дошел до геркулесовых столпов раболепия перед заграницей. И это естественно, к этому ведет логика компаратизма, политический смысл которого состоит в отрицании самостоятельности русской культуры и в утверждении приоритета культуры западноевропейской... Речь идет не о случайных нажимах пера. Раболепие перед зарубежной буржуазной наукой вытекает из его общей концепции культуры, идеалистической и космополитической по своей внутренней логике...»

И далее, уже о других ученых: «Авторы вступительных статей и комментариев к некоторым книжкам «Библиотеки» делают все, чтобы поднять на щит не только Веневитинова или Полонского, Фета или Тютчева, но и таких поэтов, как Бенедиктов или даже Инн. Анненский... Рассыпаясь в похвалах Веневитинову, Языкову, Полонскому, авторы предисловий всячески замалчивают недостатки и реакционные стороны их творчества. Формалисты издавали и превозносили Бенедиктова, Анненского, Белого, Хлебникова, выстраивали линию развития русской поэзии от Веневитинова и Бенедиктова к Фету и Полонскому, а от них к Блоку и Хлебникову. Делались, как мы видим, попытки пристроить к этой линии и Маяковского. Напротив, замалчивалась, как «эпигонская», поэзия революционно-демократическая... На каких еще авторов ориентируют своих читателей формалисты? Как на тонких ценителей изящества, Б. Эйхенбаум неоднократно ссылается в своих работах на Шевырева, Ап. Григорьева, Дружинина, Анненкова, «душевному здоровью» которого он пропел панегирик во вступительной статье к его «Литературным воспоминаниям»... В анализе творчества Гоголя Гуковский проявляет полное равнодушие к конкретной истории, к условиям

классовой борьбы, в свете которых только и могут быть поняты противоречия гениального русского художника»[5] и т. д. и т. п.

Формалисты... Компаративисты... Славянофилы... Западники... Любой термин легко входил «в строку» по пословице «Доброму вору все впору».

Устную проработку М. К. Азадовского — кроме Марка Константиновича ему еще был «доверен» Д. С. Лихачев — вел И. Лапицкий.

Это был способный человек с прекрасной памятью, которого явно погубили обстоятельства («я лишь актер, режиссура не моя»). Всего этого он не выдержал и заболел психически... Моя жена была на главной проработке — я тогда уехал преподавать в Тартусский университет. Лапицкий действовал, как фокусник — выхватывая откуда-то из-под полы книги и статьи Азадовского, зачитывал цитаты и посылал книги в зал. Цитаты были самые нормальные, но в накаленной обстановке страха и даже отчаяния они теряли свою первооснову и звучали криминально. О моей диссертации он сказал коротко: «И разве могла быть защищена диссертация под названием — хе-хе — «Русская плутовская сказка»».

Проработки были и в ИРЛИ, еще более подлые и мелкие... Университетских «деятелей» я знал почти всех. Упомянутый Лебедев был такой мелкотравчатый человек в неизменном морском кителе, невероятно пахнущий одеколоном. Он должен был писать диссертацию о Белинском, но ничего не написал, а позднее, как говорят, просто спился.

Еще выступала вертлявая дамочка, Редькина, кажется; в 1953 году она мгновенно перестроилась и стала первым борцом с культом!

Были еще два или три парня из армии, привыкшие к дисциплине и точности выполнения приказа.

Были откровенные карьеристы — в основном из Института русской литературы, им это все было как с гуся вода. И, наконец, были те, кто решил, что настало время взять реванш за отобранный папин лабаз или лавочку, за раскулаченного родителя и т. д.

Нет, не хотел бы я быть понятым в том смысле, что была-де группа «проработчиков» с одной стороны и резко противостоящие им ученые (и с ними масса) — с другой. Это было бы неверно. Множество слушателей и зрителей этих «обсуждений» находились под магией хлестких обвинений, громких заявлений, а главное — под властью тезиса о непогрешимости тех, кто «сверху»...

Ведь обо всем этом мы слышали не только от каких-то неизвестных аспирантов, а читали в уважаемых газетах, слышали от людей, в творческом и общественном авторитете которых не могли усомниться! Да что там мы — слушатели. Я сам слышал, с какой горечью говорил Г. А. Гуковский своим аспирантам о том, что, видимо, время филологии как науки ушло, и страна (страна!) требует публицистики... Шла «холодная война», и вся эта проработка списывалась на контрмеры...

Марк Константинович все воспринимал всерьез и очень болезненно. Ему, русскому ученому и русскому интеллигенту, это все было крайне мучительно. Речь шла не только о нем, речь шла о науке, которой он служил. И он заболел от всего этого...

К тому же перед самой проработкой он баллотировался в члены-корреспонденты Академии наук СССР. На последнем этапе что-то не сработало, но об этом тогда еще никто ничего не знал. И находились люди, которые подходили к нему с поздравлениями. Хорошо помню, как «разогнался» Г. П. Макогоненко и хотел уже произнести приветственную речь, но я дернул его за пиджак, и он замолчал. Если бы Марк Константинович был избран, это бы спасло его от проработки. Но этого не произошло...

После статьи Ф. Абрамова и Н. Лебедева кафедра русского фольклора была закрыта.

М. К. Азадовский уже не работал в университете.

Но работу свою он, конечно, не прекратил — он продолжал трудиться над новым вариантом «Истории русской фольклористики», над исследованием о декабристах в Сибири, над статьями и очерками.

Сохранилось мое письмо, адресованное в геологическую экспедицию моей жене,— репортаж о поездке Кирилла Чистова и моей на дачу М. К. Азадовского в Елизаветино в августе 1954 года: «Пишу из поезда — едем с Кириллом Чистовым в Мекку и Медину — к Марку Константиновичу. Чистов в 1965 г. будет членом-корреспондентом АН СССР» (я ошибся на пять лет!—Д. М.). И далее: «Пишу от Марка Константиновича. Идет у него спор с Кириллом... Вставил было реплику в спор, но они сразу заорали, что я филистер...»

Не помню ни деталей спора, ни даже темы спора. Важно другое — Марк Константинович отнюдь не чувствовал себя отверженным от науки, он стремился держаться в форме, по-прежнему волновался проблемами нашей науки, готов был к дружеским спорам с учеными...

Но, конечно, ничто не проходит даром. М. К. Азадовский умер в конце ноября 1954 года.

Всем нам, пришедшим прощаться с ним, Лидия Владимировна раздала на память книги.

Мне она подарила томик новелл Поджо Браччолини «Фацетии».

Похороны Марка Константиновича проходили в актовом зале Дома писателей имени Маяковского, откуда в таких случаях выносили стулья.

Было много народу, много выступающих и много венков.

Мне было поручено читать телеграммы, а слово мне дали уже на кладбище.

Лидия Владимировна помнила всех и все, что происходило с Марком Константиновичем в последние годы. И когда она увидела на одном из венков надпись «От Института русской литературы», она никому ничего не сказала, но попросила свою домработницу отвезти этот венок обратно в ИРЛИ. Женщина эта взяла такси и отвезла его, поставила в здании института на площадке лестницы. Представляю, с какими лицами смотрели все эти вчерашние проработчики на этот венок! Впрочем, вероятно, их мозолистые шкуры это не пробило...

* * *

Вскоре после смерти Марка Константиновича мы выпустили коллективный сборник «Русская советская поэзия и народное творчество» (Л., 1955), посвященный памяти М. К. Азадовского.

Там были напечатаны статьи К. Чистова, В. Бахтина, А. Дымшица, Л. Шептаева и А. Филатовой, С. Владимирова, И. Эвентова, моя...

А позднее одна за другой выходили книги М. К. Азадовского.

Сперва выходили не без труда. Когда издательство «Просвещение» выпустило первый том «Истории русской фольклористики», не было никакой гарантии, что выйдет второй — отсюда невнятность написанной цифры «I» на корешке первого тома и отсутствие других указаний, что это именно первый том.

Но время менялось быстро. Вышел второй том.

В предисловии к этой работе В. М. Жирмунский писал: «Книга М. К. Азадовского по истории русской фольклористики представляет обобщающий труд большого масштаба, в котором автор с позиции советской науки о фольк-

лоре подводит итоги двухвекового развития русской фольклористики. Вместе с тем этот труд является синтезом многолетней работы самого автора по фольклору, истории русской литературы и русской общественной мысли. Собирание, изучение и истолкование народного творчества рассматриваются М. К. Азадовским в общих рамках историко-литературного развития, в широкой перспективе истории общественной идеологии. Автор не ограничивает своей задачи рассмотрением «академической» фольклористики, развития «науки о фольклоре» в узком смысле слова. Борьба научных мнений, смена научных теорий показаны в его книге в связи с более широким общественным явлением, которое автор обозначает термином «фольклоризм»: с различным пониманием народного творчества и народности в разные эпохи русского литературного и общественного развития, с общественной борьбой вокруг истолкования и использования фольклора в обиходе русской литературы и культуры»[6].

И эта классическая работа, и многие другие книги, статьи и письма — все это осталось в русской советской науке, точнее в науках — в этнографии, в фольклористике, в литературоведении, в истории.

Остался и образ ученого — одного из создателей нашей науки о народе и его творчестве, Учителя.

Д. Б. КАЦНЕЛЬСОН

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ УЧИТЕЛЬ

Мне выпало на долю великое счастье — учиться у профессора Марка Константиновича Азадовского, замечательного ученого, гуманнейшего педагога, неутомимого организатора коллективных научных изданий, человека благородного, самоотверженного и мужественного. Поступив на отделение русской филологии Ленинградского университета в 1939 году, я слушала читаемый Марком Константиновичем курс фольклора, посещала проводимые профессором семинарские занятия. Тогда уже, на первом курсе, записалась в научный студенческий кружок по фольклору. В этом кружке, руководимом профессором Азадовским, продолжала заниматься и на втором курсе, вплоть до трагических июньских дней 1941 года, разлучивших меня на несколько лет с университетом. Все, что говорил мой любимый учитель об устном народном творчестве, увлекало

и глубоко волновало меня. Одной из причин моего повышенного интереса к нему были полюбившиеся мне с детства многочисленные старинные русские песни, которые пела моя мама, Бася Дойно-Кацнельсон; она была народной учительницей (в дореволюционном значении этого слова): добровольно уехав в деревню, учила крестьянских детей в 1910—1915 годах. Интерес к жизни народа и его творчеству мать передала мне; до сих пор помню печальные и трогательные песни, как например, почти забытую в современном мире:

О, Господи, столько работы,
Что некогда даже вздохнуть,
И от тоски, от заботы
Вся истомилася грудь...

Пела мама и песню, известную по репертуару хора Пятницкого,— «Вот вечер вечереет, колышется трава», содержащую удивительные по своей нравственной красоте слова о преодолении ревности:

О, милая подруга, соперница моя,
Ты любишь моего друга,
Люби же его, как я.

Я вспоминаю об этом для того, чтобы подчеркнуть, что лекции профессора Азадовского открывали давно волновавшую меня тайну сочинения, распространения и сохранения созданий устной песенной поэзии. Незабвенный Марк Константинович с удивительной ясностью и полнотой рассказывал студентам о создателях и исполнителях устных произведений, блестяще раскрывал на живых примерах процесс синтезирования неповторимых индивидуальных дарований с общенародной традицией, с вековой мудростью целых поколений безымянных людей из народа. Блестящим примером такой интерпретации были, например, лекции Марка Константиновича о сказительнице Ирине Федосовой.

Он учил нас, студентов, стремиться к воссозданию личности творцов фольклора, к собиранию по крупицам сведений о них. Мысли ученого о необходимости познания их жизни и духовного мира имели не только научный, но и нравственный аспект: учили бережному отношению к тем, кто кормит своим тяжелым трудом все общество, не получая благодарности, кто, страдая, умеет сочинять, петь, воплощать в неумирающем слове свои чувства и помыслы.

Теперь, проработав более тридцати лет в провинциальных педагогических институтах, я до конца поняла важность этого морального аспекта: пришлось увидеть немало чванливых, модно одетых студенток, проникшихся презрением к родному селу и стеснявшихся упоминать о том, что их родители — колхозники.

Вдохновленная лекциями профессора, я поехала летом 1940 года в деревню к родственникам одной из моих школьных подруг. Это было село Сметанино Монинского района Калининской области. Среди многих лиц, с которыми я там беседовала и которые очень сердечно ко мне отнеслись, мне особенно запомнилась колхозница средних лет Екатерина Ивановна Шафранова. Придя в первый раз в ее избу, я, следуя советам Марка Константиновича, старалась установить человеческий контакт с этой одаренной хранительницей русской песенной традиции. Мы провели несколько вечеров в задушевных беседах; Екатерина Ивановна поведала мне о своей нелегкой жизни. Потом она пела, очень охотно, неоднократно повторяя песню, чтобы дать мне возможность записать все слова (о магнитофонах тогда мы даже не слышали). Я записала из уст Шафрановой и других колхозниц более десяти текстов песен. Когда я осенью показала свои записи Марку Константиновичу, он очень заинтересовался некоторыми песнями; помню, что среди них была малоизвестная песня «Вечный холод и мрак в этих душных стенах», выражающая тоску девушки, которая против своей воли оказалась в монастыре. Песня завершается строками:

О, зачем я родилась не пташкой лесной,
Я б умчалась в неведомый край,
Где бы горе и радости жизни земной
Заменили потерянный рай!

Профессор хотел включить часть собранных мною текстов в задуманный им сборник студенческих фольклорных записей, но война сорвала эти планы.

Наряду с концепцией сочетания в фольклоре безымянности с яркой индивидуальностью его создателей меня восхищала в лекциях профессора Азадовского интерпретация художественного фольклоризма. Толкование профессором творческого использования поэтами или прозаиками устного народного творчества было блестящим, новаторским, объясняло не только идейно-эстетические ценности фольклора, но совершенствовало познание всей структуры литературного произведения. Эти великолепные интерпретации,

насыщавшие лекции и занятия, запечатлены в опубликованных исследованиях профессора Азадовского: достаточно вспомнить работы о сказках А. С. Пушкина или о рассказе И. Тургенева «Певцы». Свои глубочайшие знания в области фольклора, этнографии и мировой литературы, свои методы исследования Марк Константинович бескорыстно и самозабвенно передавал своим студентам и аспирантам. Он никогда не жалел времени для того, чтобы консультировать студента, терпеливо объяснял, как надо писать, внимательно перечитывал написанное, будь то реферат, курсовая работа или диссертация, исправлял, иногда дописывал целые абзацы.

Так работал профессор и со мной в течение длительного времени: и в 1939—1941 годах, когда я была студенткой первого и второго курсов, и во время моей аспирантуры (1946—1948 годы), и позднее, в 1951 году, уже вне университета.

Марк Константинович, узнав, что я с детства знаю польский язык, предложил работать в научном кружке над рефератом о польских вариантах сказки «Золушка». Я увлеклась этой темой, работала над сборниками польских народных сказок в читальном зале публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В процессе этой студенческой работы я научилась у профессора пользоваться библиографией и международной классификацией сказок, бережно относиться к каждой детали текста, сопоставлять и комментировать варианты. Уже тогда я почувствовала многогранное и глубокое знание моим любимым учителем устного народного творчества всех славянских народов. Марк Константинович несколько раз консультировал меня по всем вопросам, касающимся польских сказок о Золушке. Он великолепно знал большое, содержащее около сорока томов собрание польских фольклорных текстов, составленное Оскаром Кольбергом во второй половине XIX века. Дополняя мой реферат, на занятии кружка профессор приводил чешские, болгарские и другие славянские варианты сказок.

Посещение научного студенческого кружка и семинаров по фольклору было для меня большой радостью, праздником общения с замечательным ученым, очень чутким, доброжелательным и каким-то удивительно ласковым педагогом. Он обращался к студентам «голубчик», к студенткам — «голубушка», тепло поощрял даже самое малое удачное наблюдение, ободрял. Мой реферат Марк Константинович отметил наградой: подарил мне с дарственной надписью

изданный в Ленинграде в 1936 году под его редакцией и с его блестящей статьей томик сказок А. С. Пушкина. Книга была мне вручена с сердечными словами на занятии кружка; я пронесла ее через военные годы и возила с собой, куда бы ни забросила меня судьба. Я и сейчас храню этот томик в синем переплете с дорогой для меня надписью: «На добрую память Доре Кацнельсон от редактора, 1939/1940 гг. М. Азадовский».

Запечатлелись в памяти студенческие семинары по фольклору; на них царила атмосфера подлинной научности. По каждому реферату выступали двое студентов, которые заранее знакомились с текстом и библиографией, затем выступали все желающие; руководитель семинара поощрял дискуссии, дорожил каждым проблеском самостоятельной мысли каждого студента. Семинары проводились в кабинете фольклора на втором этаже корпуса филфака, а иногда в скромной квартире профессора, который тогда жил на улице Герцена*. Профессор стоял у своего стеллажа, снимая с полок и показывая нам редкие фольклорные издания и научные книги. Здесь у молодых филологов формировались благоговейное отношение к книге, преклонение перед наукой. Радостно волновали сопричастность к раздумьям выдающегося ученого и излучение его доброй и возвышенной души, словно бы аккумулировавшей все высокие идеалы интеллигенции России.

В годы войны мне не довелось продолжить учебу в ЛГУ; я была в Саратове и не видела Марка Константиновича в течение пяти лет. Пришла к нему в кабинет фольклора весной 1946 года, когда, окончив вечерний педагогический институт в Оренбурге, приехала в Ленинград, пытаясь поступить в аспирантуру. Профессор меня тотчас же узнал, встретил с удивительной сердечностью. В памяти эта беседа сохранилась как большое утешение в моих бедствиях, подаренное мне незабываемым учителем. Жилось очень трудно: я скиталась, ночевала в коридорах у знакомых, мучительно переживала утрату родителей, умерших в блокадную зиму, и университетских друзей, погибших на фронте. Марк Константинович помнил почти всех студентов, ушедших на фронт, расспрашивал меня о тех, чьи судьбы мне известны. Свидетельством трогательной

---

* На улице Герцена (ныне Большая Морская) семья Азадовских жила до отъезда в эвакуацию весной 1942 года и первые послевоенные годы. С осени 1947 года Марк Константинович с женой и сыном жил на улице Плеханова, дом 56, кв. 3 *(Прим. ред.)*

памяти профессора о тех, кто не вернулся с войны, является его книга «История русской фольклористики», открывающаяся посвящением павшим в боях за Родину четырем ученикам-фольклористам. В той беседе с Марком Константиновичем мы вспомнили, наряду с другими погибшими студентами, моего сокурсника Марка Морозова, очень одаренного и романтического юношу. Он разделял мой восторг от лекций ученого-фольклориста. Однажды, когда Морозову пришлось пропустить одну из них, он одолжил мой конспект и тщательно переписал.

(Молодой доцент русской филологии ЛГУ Игорь Николаевич Сухих, с энтузиазмом изучающий историю нашего университета 1940-х годов, посетил в 1970-е годы отца этого студента — учителя-ветерана М. И. Морозова, снял для университетского музея копию стихов и дневников его сына и написал о нем трогательную статью «С томиком Гоголя и винтовкой», опубликованную в газете «Смена» 23 января 1977 года.)

Эта послевоенная встреча с Марком Константиновичем определила всю мою дальнейшую жизнь: он посоветовал мне поступить в аспирантуру по открывающейся с осени 1946 года новой специальности — полонистике. Марк Константинович принял самое горячее участие в моей судьбе, написал мне для поступления в аспирантуру рекомендацию, которая мне очень помогла. Это было еще время, когда ректором был известный профессор-экономист А. А. Вознесенский, ценивший мнение ученых и учитывающий их рекомендации. Вскоре, в 1947 году, он, как известно, был репрессирован, и тогда в Ленинградском университете ситуация резко ухудшилась. Вторую рекомендацию мне дал другой выдающийся ученый профессор Б. В. Томашевский. Вступительные экзамены я сдала на «отлично». Очень тепло отнеслась ко мне профессор славистики Л. В. Разумовская — мой экзаменатор по польской литературе. Когда моя кандидатура оказалась неутвержденной в Москве, в октябре 1946 года меня вызвал ректор и около десяти минут беседовал со мной. Сказал, что едет в Москву хлопотать об утверждении меня и нескольких других лиц еврейской национальности, стал расспрашивать о моих научных интересах и планах. Я без колебаний отвечала то, что в душе уже решила под влиянием Марка Константиновича: заниматься изучением художественного фольклоризма в польской поэзии XIX века. На столе у профессора лежала открытая папка, которую он, по-видимому, должен был взять с собой в Москву. Беседуя со мной,

А. А. Вознесенский перелистывал бумаги, среди них я увидела написанные от руки рекомендации профессоров Азадовского и Томашевского. Вскоре ректор привез утверждение, и я, став аспиранткой кафедры славянской филологии, провела в Ленинградском университете три года (1946—1949). Они были наполнены и радостью учебы у замечательных ученых, и скорбью об их преследовании.

Моим научным руководителем был вначале известный исследователь польской культуры Виктор Григорьевич Чернобаев (его жизни и научной деятельности посвящена недавно опубликованная в соавторстве с Г. И. Сафроновым статья моей подруги по аспирантуре славистики И. М. Порочкиной, которая с энтузиазмом собирает материалы по истории славяноведения, связанной с Ленинградским университетом). В 1947 году профессор Чернобаев умер. Моим руководителем стал выдающийся ученый и самоотверженный педагог, деятельный участник международных славистических объединений профессор Павел Наумович Берков, впоследствии ставший членом-корреспондентом АН СССР. Его объединяла с Марком Константиновичем самая искренняя и высокая дружба. Профессор Азадовский был моим консультантом по польскому фольклору. Доброе, заботливое отношение профессоров Азадовского и Беркова воодушевляло меня, работалось под их руководством легко и радостно. Оба они очень внимательно, не жалея времени, читали рукописи аспирантов и записывали на полях или на оборотах листков свои советы и дополнения, иногда очень обширные. Я сохранила эти рукописи и, перечитывая их сейчас, сорок лет спустя, после длительной работы над польской литературой и фольклором, до конца поняла, какими многогранными и широкими были познания Марка Константиновича в области славистики, какими оригинальными и глубокими были его концепции истории русской и мировой фольклористики.

Так, профессор посоветовал мне более подробно написать в диссертации о деятельности старшего современника Мицкевича Зориана Доленги-Ходаковского, фольклориста, этнографа и археолога, безвременно умершего в бедности и скитаниях. Мой любимый учитель объяснил мне во время одной из консультаций значение научных работ и собирательской деятельности этого демократа и энтузиаста, тесно связанного с русской и украинской культурой, для развития славянской фольклористики. Профессор Азадовский изучал и пропагандировал Ходаковского задолго до появления о нем ряда работ советских (Л. И. Ровнякова) и современных

польских (Ю. Маслянка и другие) исследователей.

На полях моего реферата о фольклоризме Мицкевича профессор написал о том, что поручает мне пересмотреть сложившееся поверхностное объяснение взглядов на фольклор польского поэта, критика и профессора литературы Казимежа Бродзиньского. Его упрекали в одностороннем толковании фольклора, в идиллическом изображении крестьянской жизни. Такая точка зрения сложилась в науке в значительной степени под влиянием иронической трактовки Мицкевичем в восьмой сцене третьей части «Дзядов» одного из изображенных в ней литераторов, восклицающего: «Славяне, мы любим идиллии!» Считалось, что автор подразумевал Бродьзиньского. Профессор Азадовский утверждал, что строки Мицкевича требуют более обстоятельного комментария, и что Бродзиньский, сыграв большую роль в развитии польской и общеславянской фольклористики, заслуживает пристального и многогранного изучения.

Марк Константинович ориентировал меня на изучение Мицкевича в широком контексте мировой фольклористики, объяснял концепцию И. Г. Гердера; учитель советовал стремиться к сравнительному изучению устного творчества и литературы славянских народов.

В качестве примера таких указаний профессора приведу одну из многочисленных записей, сделанных им на полях моей кандидатской диссертации. В одной из глав я писала о том, что художественный фольклоризм поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш» связан с ее демократической идеей: автор призвал к освобождению крестьян, наделению их землей, а также к предоставлению им гражданских прав. Марк Константинович написал: «Об этом нужно сказать полнее: развить эту мысль — может быть, здесь уместно сопоставить с ролью фольклора в антикрепостнических тенденциях декабризма (см. мою статью — Вестник ЛГУ, 1948, № 1)». Я несколько раз перечитывала это исследование — «Декабристская фольклористика» — глубокое, основанное на неопубликованных рукописях, редких сибирских сборниках и журналах. Особенно восхитили меня строки, в которых профессор Азадовский обратил внимание на неизученную еще деятельность польских фольклористок — Марии Черновской и многострадальной жены З. Ходаковского — Констанции Флемминг, выразив надежду, «что польские фольклористы сумеют восполнить этот пробел в истории славянской науки о фольклоре» (с. 76). В «Словаре фольклора польского» они не упоминаются. Сегодня я, как и тогда, восторгаюсь этой удивительной

способностью моего любимого учителя находить очень интересные малоизученные проблемы в истории зарубежной фольклористики, разъяснять их актуальность и намечать пути к познанию.

Помню, как я читала на занятиях аспирантского фольклорного семинара, руководимого неутомимым ученым, реферат на тему «Адам Мицкевич и устное народное творчество». Марк Константинович пригласил Павла Наумовича Беркова. Оба учителя остались довольны моим рефератом. Особенно запомнились мне слова профессора Азадовского: «Я рад, что вы используете сложившийся в нашей науке метод изучения фольклористики в широком русле развития эстетической и общественно-политической мысли». Марк Константинович имел в виду свои взгляды, излагаемые им в лекциях и в научных трудах, но из скромности не назвал себя. Павел Наумович сделал несколько вполне справедливых замечаний по поводу композиции и стиля моей работы, на что Марк Константинович ответил: «Победителей не судят». Я же была признательна профессору Беркову за эти замечания и тотчас же их записала, чтобы учесть в своей будущей работе. Слова Марка Константиновича были выражением его педагогической системы, в которой больше места занимало поощрение учеников: чутко откликаясь даже на незначительный их успех, ученый создавал на занятиях какую-то неповторимую атмосферу радости и энтузиазма. Столь же прекрасен духовный облик профессора Беркова, так же самоотверженно преданного ученикам, только более сдержанного в изъявлениях чувств и блистающего тончайшим юмором.

Занятия семинара по фольклору проводились регулярно и были для нас, аспирантов, большой школой — школой профессора Азадовского. Помню, что активно участвовал в занятиях один из самых одаренных и последовательных учеников профессора — аспирант кафедры фольклора Кирилл Чистов, ныне выдающийся ученый, член-корреспондент АН СССР. Наряду с семинаром по фольклору аспиранты посещали спецкурс профессора Азадовского по поэтике А. Н. Веселовского. Каждая лекция этого курса была безукоризненно отработанной и завершенной частью капитального исследования Марка Константиновича. Исследование это далеко выходило за рамки истории фольклористики, охватывая важнейшие вопросы теории литературы и истории русской и зарубежной культуры в их живом взаимодействии.

Эта кипучая многогранная деятельность моего люби-

мого учителя была прервана в 1949 году его изгнанием из университета. Травля ученого, насквозь лживые и чудовищные обвинения его в космополитизме, увольнение из университета, в котором он так самоотверженно трудился ради расцвета советской славистики — одно из жестоких преступлений сталинского режима. Я не была на собрании, превращенном в средневековое судилище, и знаю о нем только из рассказов моих сокурсников. В то время я находилась в длительной командировке в Вильнюсе: Павел Наумович и Марк Константинович выхлопотали для меня в ректорате возможность заниматься в архивах рукописями эпохи Мицкевича.

Когда же удостоилась счастья продолжать учебу у профессора Азадовского после его изгнания из университета, то была радостно удивлена тем, что мой учитель не был сломлен клеветой и гонениями. Он не только продолжал писать свои труды, но и сумел в тяжелой атмосфере преследований оставаться инициатором и организатором коллективных работ. Я встретила профессора (если мне память не изменяет, это было в 1951 году) в публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Я увидела моего любимого учителя неизменившимся: тот же теплый и живой блеск глаз, прежняя, знакомая мне еще с 1939 года, манера говорить радостно, ласково и воодушевленно. Я, волнуясь, сказала профессору о своем возмущении случившимся, а он спокойно, мужественно ответил: «Не волнуйтесь, все это пройдет, главное — надо работать». Тут же, в коридоре библиотеки он, непревзойденный педагог и редактор, предложил мне писать для подготавливаемого при его деятельном участии пятьдесят девятого тома «Литературного наследства», посвященного декабристам-литераторам.

И вот опять я у Марка Константиновича дома, за столом, заваленным его собственными, чужими и редактируемыми рукописями. Профессор доверил мне написать вступление и комментарии к публикуемому в этом томе письму сосланного в Сибирь польского патриота литератора Александра Краевского к Вильгельму Кюхельбекеру. Вторую тему я назвала сама, когда Марк Константинович спросил, что я хотела бы написать о контактах декабристов с польскими конспираторами. Учитель одобрил мое предложение перевести с польского языка и прокомментировать посвященный воспоминаниям о Кюхельбекере фрагмент полузабытой книги, изданной в Париже на польском языке в 1840 году под заглавием «Białorús» («Белоруссия»).

Автором ее был участник восстания 1830—1831 годов польский поэт и фольклорист Александр Рыпиньский. Обе мои рукописи Марк Константинович дополнил и усовершенствовал. Например, в одном из дополнений он изложил и прокомментировал все отклики на деятельность и творчество Рыпиньского, появлявшиеся в России в течение XIX века. Фрагмент этого дополнения сохранился в названном выше томе (Ч. 1. С. 514, строки 33—45). Замечания учителя помогли мне перейти от обзора фактов к научным наблюдениям. Вот отрывки одной из пометок ученого: «Отметить, что Кюхельбекера и Рыпиньского связывала общая любовь к устной народной поэзии. Книжка польского литератора проникнута горячим сочувствием к народному достоянию белорусов: песням, преданиям, обрядам. Песни, по собственному указанию Рыпиньского, он стал записывать очень рано, когда еще не было знаменитых сборников. (...) Научное значение его книжки ослаблено тем, что он не владел приемами научной записи, которые в то время уже применялись (...)». Увидев обширные фрагменты, которые профессор сам написал и присоединил к моему тексту, я сказала: «Марк Константинович, ведь это уже Ваша работа, Вы пишете». На это он ответил: «Я со всеми так работаю, иначе молодежь никогда не научится писать».

Все мои последующие работы уже так не радовали меня, как эти, написанные в непосредственном контакте с таким преданным и добрым учителем и посвященные одной из любимейших его тем — жизни и деятельности декабристов. Им он посвятил многие годы своей жизни, благородной и прекрасной, трудясь бескорыстно и самозабвенно. Теме декабризма я осталась верна: работая в шестидесятые годы в Читинском пединституте, я изучала в областном архиве фонды Нерчинской каторги, собирая по крупицам сведения о судьбах польских повстанцев и декабристов. Я убедилась, как трогательна дружба и высокое духовное общение поляков и русских, объединенных одной трагической участью. Зачинатель польского восстания 1830—1831 годов Петр Высоцкий, конспиратор ксендз Тибурций Павловский и их товарищ по каторжной тюрьме в Акатуе Михаил Лунин, чьим благородным обликом и литературной деятельностью пристально интересовался профессор Азадовский... Вильгельм Кюхельбекер и его любимый друг пылкий польский патриот, одаренный пианист Константин Савичевский... Под влиянием своего незабвенного учителя я писала статьи о поляках в Сибири и их контактах с декабристами,

опубликованные в совместных изданиях института славяноведения АН СССР и института польской истории Польской Академии наук (серия «Польское общественное движения и литературная жизнь 30—50 годов XIX века». Оссолинеум, 1978—1986).

Годы ученичества у Марка Константиновича помогли мне впоследствии написать книгу, посвященную истории польской повстанческой песни XIX века («Folklor powstania styczniowego»), опубликованную в 1974 году в издательстве Польской Академии наук «Оссолинеум».

С мыслью о любимом учителе я писала все свои работы и преподавала зарубежную литературу в педагогических институтах в Полоцке, Улан-Удэ, Чите, Дрогобыче. Студентам рассказывала о трудах профессора Азадовского, рекомендовала изучать их, стремилась следовать методам работы этого замечательного педагога с молодыми филологами. Путь мой был нелегок, и удалось сделать очень мало, но память об учителе я пронесла через всю свою жизнь, чувствуя с годами все острее жгучую боль при мысли о его изгнании и безвременной смерти. Терзает меня запоздалое сожаление о том, что по своей глупости или робости я не успела сказать Марку Константиновичу слов бесконечной благодарности за его деятельное участие в моей судьбе, за поддержку, помощь, преданность — слов преклонения перед всей его подвижнической жизнью.

Б. Н. ПУТИЛОВ

ПОСТОЯНСТВО ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ

Мое знакомство с Марком Константиновичем Азадовским, сначала заочное, а потом и прямое, состоялось в 1946 году. Разумеется, задолго до этого я знал его труды. Имя его многократно называлось в лекциях моего первого учителя по фольклору профессора Николая Петровича Андреева. Когда в 1943 году я сам стал читать курс лекций в Грозненском педагогическом институте, работы Марка Константиновича по русской сказке, по истории русской фольклористики, по проблемам фольклоризма русской литературы постоянно находились на моем рабочем столе: ничего удивительного не было в том, что некоторые разделы курса я старался читать «по Азадовскому». Влияние его и его школы отчасти сказалось и на построении моей первой книги — сборника «Песни гребенских казаков»

(Грозный, 1946): принципы, многократно обосновывавшиеся Марком Константиновичем в отношении публикации сказок и былин, я перенес на публикацию песен, расположив, их не по жанрам или темам, а по исполнителям.

После трех лет работы в институте, после первых экспедиций и нескольких публикаций мне стала ясна необходимость искать контакты с большим научным миром. Как и для большинства тогда, он воплощался для меня в Пушкинском доме. На мое письмо я очень скоро получил ответ — от самого М. К. Азадовского. Надо ли говорить, что значили для меня его слова поддержки, одобрения и готовности помочь в моих делах. Правда, подлинный смысл письма мне стал понятен позже, и случилось это на защите моей кандидатской диссертации в октябре 1948 года. М. К. Азадовский был первым моим официальным оппонентом. В те времена правила знакомить соискателя с отзывами не было, и вообще, как я помню, у Марка Константиновича заготовленного текста не имелось, а он свободно говорил, сверяясь с заметками на нескольких листках. Начал он с воспоминания о том, как, вернувшись из эвакуации и возобновив работу Сектора фольклора, он и его ближайшие сотрудники встали перед острой проблемой: война, блокада унесли жизни многих — и зрелых, и начинавших — ученых; нужно было искать и растить новых. «И вот в этот момент...»—Марк Константинович описал, как узнал он обо мне, работавшем где-то на периферии в полном одиночестве, как позвал в институт, и т. д.

Именно тогда я понял, что быстрый отклик Азадовского на мое письмо было не просто проявлением свойственной ему доброжелательности и обязательности. Отклик этот был эпизодом в его энергичной деятельности, направленной на восстановление нашей науки, на собирание новых сил. В то время Марк Константинович, усиленно занимался сам многими проблемами, издавая, редактируя, организуя сборники, привлекая новых сотрудников, возобновляя утраченные за войну связи, развертывая работу в Академии наук, и в университете, отчетливо осознавая *личную ответственность* за возрождение и быстрое укрепление фольклористики в системе гуманитарных наук. С полным правом он осуществлял функции *руководителя науки,* делая это широко, свободно, инициативно. Я знал далеко не все, что делал Марк Константинович в те годы, и, конечно, деятельность эту в полном масштабе должны восстановить не мемуаристы, а историки. Я просто отчетливо представляю себе, что именно в 1946—1948 годах Пушкинский дом стал подлинным центром со-

ветской фольклористики, и заслуга здесь принадлежит Азадовскому. Затем — в силу печальных обстоятельств — эта роль была на несколько лет утрачена и вновь вернулась к Пушкинскому дому в середине 50-х годов, когда стали возрождаться лучшие традиции и во многом были возвращены традиции, заложенные Марком Константиновичем.

Но я забежал далеко вперед... С декабря 1946 года начинается мое непосредственное общение с М. К. Азадовским. Помню главное ощущение от первых встреч: смущенность, боязнь сказать глупость, и вместе с тем — легкость, сознание, что он меня хорошо понимает и ободряет.

Помню обсуждение моего сборника; что меня поразило — серьезность, как теперь принято выражаться, высокий уровень обсуждения, которые задал Марк Константинович, в связи с книгой он затронул множество вопросов теории, текстологии, эдиционных принципов, наметил целую программу издательской работы по фольклору, думаю, что многое из сказанного им тогда пошло мне в дальнейшем впрок. Присутствуя еще на нескольких заседаниях в секторе и на кафедре фольклора, я мог убедиться, как естественно и искусно Марк Константинович умел придать любому конкретному разговору, обсуждению, спору теоретический характер, широту, творческую направленность. Казалось, в общении с ним растешь буквально не по дням, а по часам. Не будем забывать, что в то время мы не располагали, наверное, и десятой долей сегодняшнего фонда научной литературы, о многом еще и не подозревали, многое лишь находилось на подступах, зрело. Эрудиция Марка Константиновича, его свободная ориентировка в современной и старой науке, его обширные библиографические познания, заложенные не в картотеке, а в памяти и всегда готовые к передаче, а главное — теоретическая острота и умение быстро схватить суть проблемы и обнаружить главное зерно в работе ли, докладе, в итогах чьей-то экспедиции, сделать это живо, интересно — вот эти качества проявлялись особенно ярко в общении М. К. Азадовского с коллегами. Допускаю, что те, кто регулярно и долго встречался с Марком Константиновичем, могли привыкнуть и уже не удивляться, но для меня, вырывавшегося в Ленинград на короткое время раз в год, такие встречи были настоящим праздником и незаменимой школой. До сих пор помню кандидатский экзамен в 1948 году. Был он совершенно неформален: М. К. Азадовский и В. Я. Пропп просто вели со мной разговор вокруг разных вопросов. Их

интересовало *мое* отношение к исторической школе (попутно, как бы незаметно, они выяснили, насколько знаю я труды ее представителей), к Веселовскому и т. д. Как я понимаю, им было интересно «поворошить» эти вопросы, а не устанавливать степень моих познаний.

Вскоре после экзамена Марк Константинович поделился со мной планом—зачислить меня в штат Пушкинского дома, и, увидев мою реакцию (разумеется, самую положительную), принялся, как он сказал, готовить почву. Один его шаг в этом направлении может показаться в наше время, мягко выражаясь, странным: он предложил Издательству Академии наук, в котором находилась большая рукопись коллективного труда «Русский фольклор», дать мне ее на дополнительную рецензию. Представьте себе — рукопись была мне передана. Кто я был? Соискатель, ожидавший защиты, преподаватель провинциального института без звания, автор нескольких работ. Было еще одно тоже удивительное обстоятельство: Марк Константинович решительно ничего мне не сказал, ничего не попросил (а ведь мог бы просто подсказать рецензенту, что от него требуется). Когда же я принес рецензию, содержавшую немало серьезных замечаний и, в сущности, предполагавшую большую дополнительную работу над рукописью (она и была взята в сектор для доработки), М. К. Азадовский нимало не удивился (словно ждал чего-то в этом роде), а лишь сказал: «Ну что ж, моя концепция о Вас, как ученом, подтвердилась».

Потом была защита... Прошла она, прежде всего благодаря оппонированию Марка Константиновича, в высшей степени успешно, и можно было бы о ней не вспоминать, если бы не драматические обстоятельства, с нею связанные. Во время выступления второго оппонента Марк Константинович потянулся налить себе воды, и вдруг я увидел, как тело его стало клониться в мою сторону, стакан выпал из руки, и голова странно склонилась. Я успел подхватить его. Заседание прервалось, Марка Константиновича унесли в другую комнату, затем заседание возобновилось... Когда все кончилось, я поспешил в кабинет, где на диване лежал Марк Константинович. Первое, что он сказал слабым голосом: «Я боялся, что испорчу Вам защиту. Слава Богу, все обошлось». Сильнейший сердечный приступ вывел его из строя. Где-то незадолго перед тем он при мне принял какие-то таблетки. Должно быть, невольно я не сумел скрыть беспокойства, и он сказал мне: «Видели фильм «Лисички»? Вот так может случиться и со мной».

...Снова я увиделся с Марком Константиновичем только почти через три года. Горечь и негодование вновь возвращаются ко мне, когда я вспоминаю об этих годах. Правда, я был далеко. Я не присутствовал на позорных заседаниях ученых советов, где предавали анафеме и обливали клеветой людей, составляющих ныне (да и тогда составлявших) гордость отечественной филологии. Я знал лишь по фамилиям авторов разгромных статей и выступлений, при воспоминании о которых живые свидетели и сейчас, почти сорок лет спустя, меняются в лице. Но все же кое-что доходило и до меня. Позднее я узнал, что заседание с моей защитой было последним в нормальной жизни Пушкинского дома, а затем наступила долгая черная полоса. Разумеется, вопрос о моем приеме на работу исчез с повестки дня на целых шесть лет. В одном из писем Марка Константиновича ко мне (уже где-то в 1951 году) были и такие слова: «Плохо бы Вам пришлось, если бы мои планы относительно Вас осуществились». М. К. Азадовский стал одной из главных мишеней безобразной кампании, ведшейся под флагом борьбы с космополитизмом. Кампания открылась грубой и безграмотной статьей В. Сидельникова, избравшего для своей «критики» прежде всего пушкиноведческие работы М. К. Азадовского. Под впечатлением этой статьи я тут же написал Марку Константиновичу возмущенное письмо. Тогда, помню, я был убежден, что произошла какая-то непонятная аберрация у редакции газеты, что ошибка будет исправлена, что «критик» тут же получит по заслугам. Увы, все оказалось значительно сложнее, и подлость В. Сидельникова вовсе не была его частным делом.

Ответа я не получил. Наша переписка прервалась надолго. Оказалось, что почти все это время, после защиты, он прохворал, статьи, по поводу которой я возмущался, ему не показали, а, следовательно, не дали и мое письмо (и десятки других писем такого же содержания). Публичные его «осуждения», резолюции по его поводу, увольнения из Пушкинского дома и университета, закрытие кафедры фольклора, рассыпание наборов книг, газетные отчеты — все это прошло без его участия и стало известно ему потом, все сразу. Как пережил он эти потрясения — известно только ему и Лидии Владимировне, героически обеспечившей мужу столь жизненно нужный ему покой...

Однажды летним утром 1951 года я вышел из вагона пригородного поезда на станции Сиверской. Марк Константинович стоял на перроне, поджидая меня. По первому взгляду, он был такой же, только опирался на палочку и,

если говорил долго, начинал тяжело дышать. Ходил он медленно, часто останавливался. Но сразу было ясно, что дух его, острота ума, юмор остались прежними. Прибавилась горечь. Главная горечь была связана с отлучением его от фольклористики. Он в это время много и успешно занимался декабристами. В тот приезд я прочитал в рукописи его монографию о неизвестных и потерянных произведениях декабристов, впоследствии составившую огромный раздел декабристского тома «Литературного наследства». Помню, как он обрадовался, когда я обратил внимание на извлеченные им из небытия сочинения Бестужева-Рюмина. Мы сошлись с ним на том, что факт этот очень обогащает и без того обаятельный образ декабриста. Работа у Марка Константиновича была, и работа интересная, важная. Но — в фольклористику путь ему был закрыт, закрыт несправедливо, жестоко, а именно она была для него самым дорогим и значительным поприщем. К этому добавлялась и еще одна потеря: его, можно сказать, любимое детище, двухтомная «История русской фольклористики», которую он в значительной степени завершил накануне войны и в месяцы блокады, и рукопись которой вывез из Ленинграда как самое ценное, лежала теперь без движения, и никто не мог поручиться, что она вообще увидит свет. И еще: с горечью непередаваемой говорил он о людях, некогда ему близких, а в эти годы предавших его или трусливо его избегавших.

Казалось бы, подобного рода испытания должны потрясти человека и сдвинуть в нем что-то коренное. Но было очевидно, что с Марком Константиновичем этого не произошло. В тот мой приезд, может быть, в первый раз наши разговоры вышли за пределы науки и коснулись многого разного: литературы, театра (кто-то мне тогда же рассказал, что видел у Кировского театра Марка Константиновича, спрашивавшего лишний билетик), Иркутска, моей жизни на Кавказе и т. д. А с каким веселым интересом следил он за футбольным матчем Путилов — Азадовский-младший, неожиданно открывая в своем сыне спортивные качества! Лидии Владимировны не было, и мы весь долгий летний ленинградский день провели в мужской компании. Потом были другие дачные встречи, но вот эта, первая после длительной разлуки, помнится мне по-особенному. Сидя в вагоне, я размышлял не только о несправедливости, совершившейся над крупным ученым, но и о стойкости, душевной крепости русского интеллигента, которого можно лишить многого, но у которого нельзя отнять ни человеческого

достоинства, ни неостывающей работы духа.

Последняя встреча с Марком Константиновичем произошла в 1954 году, когда благодаря усилиям Михаила Осиповича Скрипиля, я стал старшим научным сотрудником Пушкинского дома. К Марку Константиновичу возвращалось чувство ответственности за сегодняшний и особенно — за завтрашний день нашей фольклористики. Он оживленно расспрашивал меня о делах сектора, о наших общих и моих планах; весело посмеялся, когда я рассказал ему, какие соавторы мне достались по одному из разделов коллективного труда («Ну, надеюсь, читатель различит, кто что писал»,—утешил он меня), сам строил новые планы. Похоже, приближалось время, когда его попросят вернуться — как несколько позже попросили вернуться Б. М. Эйхенбаума. Но сил ждать у Марка Константиновича не хватило...

Когда вспоминаешь о Марке Константиновиче, обязательно вспоминается и Лидия Владимировна. Я увидел ее в первый раз в 1950 году. Я сидел в Секторе фольклора, конспектируя какую-то книгу, когда она вошла. Не знаю почему, но я сразу понял, что это она. Лидия Владимировна пробыла в комнате несколько минут, взяла какую-то рукопись, посмотрела на меня, что-то спросила, ей ответили, она еще раз взглянула внимательно и ушла. В эти минуты какое-то стеснительное чувство сковало меня, я побоялся встать, обратиться к ней. А ведь она, конечно же, знала обо мне и помнила мое прошлогоднее письмо. Позднее я узнал, как умела она помнить и тех, кто писал подобно мне, и тех, кто так или иначе был замешан в кампанию против Марка Константиновича.

...Я общался с Лидией Владимировной более тридцати лет. В моем сознании она была всегда одна и та же, как бы без возраста, всегда одинаково красивая, исполненная благородства, интеллигентности в самом полном смысле этого слова и живейшего интереса к жизни. Что меня особенно в ней восхищало: она одновременно воплощала в себе идеальную жену ученого (казалось бы, полностью растворившуюся в делах и заботах мужа и его научного наследия) и личность самое по себе, значительную и яркую индивидуальность, обладавшую недюжинным литературным талантом.

То, что она сумела сделать ради возвращения науке всего оставшегося фонда научного наследия Марка Константиновича, заслуживает быть названным настоящим подвигом. Все сохранить, собрать, систематизировать, отделить перво-

степенное; найти людей, способных довести материал до полной готовности к печати и самой принять немалое участие в этой работе; и все это в обстановке, когда одни колеблются (пришло ли время?), другие просто боятся, а третьи потихоньку ставят палки в колеса,—сколько надо было иметь сил, какую убежденность, чтобы не отступить, не опустить руки, довести дело до конца. И ведь доводила, не отступала: два тома «История русской фольклористики» (сейчас невозможно даже представить, как мы могли жить без этой книги), сборник статей о фольклоре и литературе, вернувший нашей науке основной корпус научных идей М. К. Азадовского (увы, далеко не в полном виде: занимаясь подготовкой этой книги, я испытал немало перестраховочных сопротивлений; драгоценнейшие работы о сказках Пушкина так и не удалось «реабилитировать» тогда), несколько других неопубликованных при жизни статей, переписка ученого — все это заслуга Лидии Владимировны. И мы испытываем не просто чувство благодарности к ней за все сделанное для нашей науки, но и гордости — вот женщина удивительной стойкости, подлинной духовности и поразительной способности практически осуществлять благородные замыслы!

Много лет подряд 24 ноября, в день смерти Марка Константиновича, мы собирались у Лидии Владимировны, и хотя участники этих вечеров были всегда одни и те же, сами вечера никогда не повторялись: всякий раз вспоминалось что-то новое, восстанавливались новые факты, на столе появлялись новые публикации, и Лидия Владимировна или кто-то из нас делились новыми замыслами, связанными с наследием Марка Константиновича. Постепенно и неуклонно непосредственная боль утраты отступала перед историческим осознанием личности М. К. Азадовского и его места в науке. Именно этой темой я хотел бы закончить свои воспоминания, повторив отчасти то, что сказал на заседании кафедры русской литературы в 1978 году, посвященном 90-летию со дня рождения ученого.

Русская фольклористика до М. К. Азадовского развивалась по двум параллельным, редко сливавшимся линиям: одни собирали и публиковали произведения фольклора, другие — теоретически и исторически его исследовали. Парадоксально, но когда фольклористы-собиратели занимались исследованиями, они редко опирались на собственный экспедиционный материал. Марк Константинович осуществил задачу подлинно исторического значения — он объединил обе линии, явившись одновременно превосходным собирателем и замечательным исследователем фольк-

лора. Более того, самую полевую работу он превратил в часть работы исследовательской, придав ей целенаправленность, программность и наполнив теоретическим смыслом. Полевые материалы стали для него первейшим по значению предметом исследования. По его стопам пошли многие, в первую очередь сказковеды и эпосоведы.

Другая его историческая заслуга заключалась в фронтальном осмыслении всего, что в отечественной культуре XVIII—начала XX веков было сделано в сферах, так или иначе касавшихся фольклора, и — на этой прочной основе — в разработке концепции самого понятия «русская фольклористика». Можно сказать, что М. К. Азадовский — в большей степени, чем кто-либо в те годы,—сформировал теоретическую и методологическую базу нашей науки. И если сейчас мы пересматриваем какие-то ее принципы, стремимся ввести новые понятия и аспекты, опираясь на опыт последних десятилетий, то делаем мы это с полным пониманием исторических заслуг М. К. Азадовского и с бережным отношением к тому, что остается незыблемым.

Наконец, третья заслуга М. К. Азадовского состояла в его вкладе в организацию советской фольклористики, в создание научных учреждений, подготовку серийных изданий, в разработку идей и принципов собирания, публикации фольклора, в создание фольклористической школы и выработку принципов обучения фольклористов, в организацию разного рода конференций, совещаний и создание подлинно творческой атмосферы в нашей научной жизни.

В том лучшем, что есть в нашей науке сегодня,— непременная доля участия М. К. Азадовского.

Г. К. КИСЛИНСКАЯ

ОНИ ОСТАВИЛИ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

С каждым годом остается все меньше и меньше моих ровесников, с кем за долгую жизнь сталкивала судьба. Люди уходят, оставляя по себе печаль и память, что со временем постепенно сглаживается. Но есть близкие, которые, физически перестав существовать, продолжают как бы сопутствовать тебе. С ними мысленно беседуешь, советуешься, думаешь о них, и это остается с тобой до последнего часа. Именно такими людьми были для меня Марк Константинович Азадовский и его жена Лидия Владимировна.

Знакомство и общение с ними — одно из самых светлых моих воспоминаний.

Передо мной журнал «Сибирь», № 2 за 1985 год, в котором помещена прекрасная статья Н. Н. Яновского, посвященная памяти Лидии Владимировны.

Я знаю Лидию Владимировну (урожденную Брун) с начала века. Наши отцы Владимир Карлович и Константин Карлович были родными братьями. Мы жили в то время вместе в одной большой петербургской квартире. Нас с Лидией Владимировной разделяли два года (я была младшей). Помню себя очень рано и ясно представляю, как уже с первых сознательных шагов я стремилась не отставать от Лидии, что было нелегко, так как с самого раннего детства она поражала родителей и близких своим необычайным развитием.

Братья Бруны были людьми передовыми, много знали, много читали. Прекрасно разбирались в мировой литературе, живописи, музыке, любили театр.

Помню, по воскресеньям наши отцы совершали с нами прогулки по городу, рассказывали его историю, знакомили с Эрмитажем, водили в музей Александра III (ныне — Русский музей). Родители не ограничивали нас тесным мирком детской. Впоследствии я очень сожалела, что часто больше увлекалась игрой в куклы и не слишком вникала в те духовные богатства, которыми так щедро одаривали нас родители. Лидия же была не по годам серьезной девочкой; кроме того она обладала исключительной памятью, что в какой-то степени способствовало потом становлению ее личности.

В 1915 году я поступила в частную гимназию В. Н. Хитрово, помещавшуюся на 1-й роте Измайловского полка (ныне — улица Красноармейская), где уже в третьем классе училась Лидия. Помню первые слова, сказанные мне классной дамой: «Галя, у нас учится Лидия Брун, ее знают все как не по годам умную и способную ученицу». Помню, я с гордостью водила своих подруг-одноклассниц наверх, где помещался класс Лидии, и знакомила их с ней. Кроме того Лидия была прехорошенькой: всеобщую зависть вызывали у других девочек ее роскошные каштановые косы.

В начале 1916 года я с родителями уехала из Петрограда, и многие-многие годы мы не виделись.

Живя на Дальнем Востоке в Хабаровске, я работала в Крайплане, где в 1929 году мне довелось познакомиться с удивительным человеком — В. К. Арсеньевым. Он часто приезжал из Владивостока, принимая активное участие в

составлении плана первой пятилетки по Дальнему Востоку. Иногда, прерывая работу, он рассказывал о своих былых экспедициях. Рассказчик он был необыкновенный. Вспоминая о прошлом Хабаровского края, он часто упоминал о молодом талантливом ученом М. К. Азадовском, с которым еще до революции он был близко знаком и тесно сотрудничал.

И вот, приехав в Ленинград в 1935 году, я узнала, что моя Лидия вышла замуж за профессора М. К. Азадовского.

Впервые я познакомилась с Марком Константиновичем после его возвращения из Иркутска, куда они в 1935 году ездили вместе с Лидией. С первого взгляда было видно, что выбор сделан удачный — как с той, так и с другой стороны. Редкое единодушие во всем.

Марк Константинович был на редкость многогранный человек, кладезь знаний глубоких — о чем бы ни шел разговор. Внимательное отношение к собеседнику, кто бы он ни был.

Мой отец (родной дядя Лидии Владимировны) жил и работал в те годы в Петрозаводске, и когда Марк Константинович вместе с Лидией Владимировной приехал туда в командировку, отец, ожидая их к обеду, был несколько насторожен: должно быть, он беспокоился за выбор своей любимой племянницы. Но с первых же слов Марк Константинович и мой отец нашли общий язык. Выяснилось, что уже в студенческие годы в Петербурге они оба находились в самой гуще событий и интересов, сопутствующих передовой молодежи тех лет. Нашлось много общих знакомых. Завязалась очень интересная и оживленная беседа, но ее неожиданно прервало сообщение по радио о смерти М. Горького.

Марк Константинович сразу прекратил разговор. Очень глубоко задумался, как бы ушел в себя. Никто не прерывал молчания. В тот же вечер Марк Константинович и Лидия Владимировна раньше срока возвратились в Ленинград. Позднее я узнала, что Марк Константинович был связан с Горьким — даже переписывался с ним.

К сожалению, в предвоенные годы мне очень редко удавалось видеться с Марком Константиновичем, хотя связь наша не прерывалась. Лидия Владимировна поступила учиться в педагогический институт им. Герцена, Марк Константинович много работал. Очень радостно было узнать, что они ждут ребенка. Перспективы казались самыми радужными. Но... на наше поколение обрушился день 22 июня 1941 года.

Все перемешалось. Институт, где я работала, был срочно эвакуирован в Омск; я уехала, не успев даже попрощаться, и до 1943 года ничего не знала о судьбе моих близких. Позже совершенно случайно выяснилось, что Марк Константинович находится с семьей в Иркутске. Наладилась переписка. Слава Богу, все живы и даже маленький Котик (фотографию которого я получила в первом же письме) тоже жив и здоров.

Я вернулась в Ленинград в 1944 году, а в марте 1945 года возвратились из Иркутска Марк Константинович, Лидия Владимировна и Котик.

Дети, родившиеся в Ленинграде в конце 1941 и в 1942 годах, в основном не выживали. (Недаром же к началу 1948 учебного года во всем Ленинграде с трудом набрали несколько первых классов.) Какое же надо было проявить самопожертвование, чтобы в условиях блокады, голода, бомбежек, тяжелой болезни Лидии Владимировны, суметь сохранить жизнь маленькому, беспомощному, только что народившемуся существу!

Когда я пришла к ним на улицу Герцена, я с трудом узнала Марка Константиновича, так он похудел, и только живые умные глаза были прежними.

В послевоенные годы нам всем жилось нелегко, но я не уставала поражаться, с какой исключительной добротой, заботой и вниманием относился тогда Марк Константинович ко всем своим родным, к студентам и просто знакомым. Я часто бывала в то время у них и не помню случая, чтобы Марк Константинович, возвращаясь после лекций из университета, не привел бы с собой кого-нибудь из студентов, а то и нескольких — кого подкормить, кому дать нужную книгу, совет — и всегда переживал, если ему почему-либо не удавалось оказать посильную помощь.

Я видела Марка Константиновича спорящим, беспокойным, усталым, больным, но равнодушным — никогда.

Было известно, что Марк Константинович прихварывает, и несмотря на строгие запреты врачей, все время работает, беспокоится о чьей-то судьбе, кому-то старается помочь, отдавая этому все свои силы. И таким он оставался до последнего вздоха.

Для ученого, каким был Марк Константинович, 66 лет — это расцвет сил и творчества. Как можно было допустить, чтобы чья-то злая, завистливая, несправедливая рука вопреки здравому смыслу обрушилась на него в конце 1940-х годов, тем самым на много лет сократив его жизнь!

Лидия Владимировна была неутомимой помощницей Марка Константиновича в работе, в то же время она заботливо оберегала его от всех сложностей и неурядиц. Она несла на себе все домашние заботы. Маленький Котик также требовал много внимания.

Во время долгой болезни Марка Константиновича Лидия Владимировна проявила чудеса стойкости, любви и самоотверженности, старалась поддержать и влить какие-то силы в уходящую жизнь безгранично дорогого для нее человека...

Остался тринадцатилетний Котик. Любовь Лидии Владимировны достойна глубочайшего уважения. Оставшись одна, она сумела дать ему всестороннее, прекрасное образование, воспитание, причем все это делалось без нажима, с редким тактом, спокойствием и чуткостью. Тем самым она сумела завоевать со стороны сына большую привязанность и любовь к себе до конца дней.

Последние годы Лидия Владимировна была для меня самым близким человеком. Она обладала каким-то неповторимым внутренним светом. С ней было легко общаться. О чем бы ни шел разговор, она никогда не прерывала собеседника, а если в чем-нибудь и не соглашалась, умела спокойно отстоять свою точку зрения. Всегда чуткая к чужой беде, она искренне и естественно приходила на помощь.

Часто, гуляя, мы вели долгие разговоры. Она много знала, читала, интересовалась окружающей жизнью. Она до конца сохранила исключительную память, обладала здравым смыслом, поэтому беседа с ней всегда принимала яркий и содержательный характер. Мы вместе ходили в театр, на концерты, в филармонию, на выставки, иногда в кино.

Я нередко навещала Лидию, когда она отдыхала в Комарово, в Доме творчества писателей, и мне радостно было видеть, как приветливо к ней относились отдыхающие. Помню, однажды был апрельский, холодный и пасмурный день. Гулять не хотелось. Мы пили чай. К Лидии Владимировне подошла какая-то дама, закутанная в белый платок, видимо, простуженная и, присев к нам за столик, продолжала, очевидно, ранее начатый разговор. Лидия меня познакомила, но я, увы, не расслышала фамилии. Позже оказалось, что это была Ахматова.

Иногда Лидия делилась со мной замыслами и планами относительно своего большого труда, связанного с научной и

общественной деятельностью Марка Константиновича. Я всегда поражалась, как она, погружаясь в работу, не теряла из виду и все то, что связано с нелегким преодолением бытовых трудностей. Это тоже редкое для женщин качество.

Я всегда чувствовала с ее стороны родственную заботу близкого человека. Я неизменно прислушивалась к оценке моих помыслов и поступков, не пренебрегала ее советами, всегда справедливыми. Я часто как бы проверяла свою совесть ее суждениями и оценками.

До сих пор в памяти звучит ее вечно молодой голос, ее слегка грассирующая речь.

Обидно, что при таком ясном уме и жажде активной жизни она последние годы не могла самостоятельно выходить из дома (болезнь ног).

Судьба часто бывала несправедлива к ней, и лишь сила духа и незаурядная воля помогли ей выстоять и не потерять самообладания в самых трудных испытаниях, выпавших на ее долю.

Оглядываясь сейчас назад, я думаю, что Марк Константинович — несмотря ни на что — был все-таки счастливым человеком. Источником этого счастья была для него Лидия Владимировна. Уже после того, как Марка Константиновича не стало, она всецело посвятила себя его делу и смогла достойно увековечить его память изданием его трудов, не увидевших света при жизни ученого.

ПРИМЕЧАНИЯ

Ольхон Анатолий Сергеевич (1903—1950) (псевд.; наст. фамилия — Пестюхин) — сибирский поэт. С 1931 г. жил и работал в Иркутске. Автор поэтических сборников «Марь» (1940); «Служба погоды» (1948); «Окраины милой Отчизны» (1948); «Восточный сектор Арктики» (1949); новелл «Экватор» (1929), драмы «Вилюйский узник» (1948), сказок «Волшебные сказки» (1948) и др. Посвященное М. К. Азадовскому стихотворное послание «Байкальское сердце» написано А. Ольхоном на станции Байкал в 1944 г. и опубликовано в сборнике «Байкал» (М., 1945). По сообщению А. И. Малютиной, в письме от 30 ноября 1948 г. М. К. Азадовский писал А. С. Ольхону, что послание—«прекрасный жанр, столь любимый нашими классиками... вышедший из употребления в наше время» (ЦГАЛИ. Ф. 2183, оп. 1, д. 88. Л. 5). Два письма М. К. Азадовского опубликованы в сб.: Из истории русской советской фольклористики.— Л., 1981.— С. 252—253; шесть писем А. Ольхона см.: Литературное наследство Сибири.— Новосибирск, 1969.— Т. 1.— С. 351—361.

Азадовская Лидия Владимировна (урожд. Брун, 1904—1984) — жена, помощник и соратник М. К. Азадовского. Родилась в Петербурге. Закончила Феодосийскую женскую гимназию, высшие курсы библиотековедения в Ленинграде; в 30-е гг. училась в пединституте иностранных языков. После кончины М. К. Азадовского многое сделала для публикации трудов ученого. Прежде всего следует отметить ее колоссальную работу по изданию «Истории русской фольклористики» в двух томах. В 1969 г. в «Литературном наследстве Сибири» (Т. 1). ею опубликовано 116 писем 26 ученых-сибиреведов и писателей М. К. Азадовскому (с. 182—381); 142 письма (также с научным комментарием) см. в сборниках «Из истории русской советской фольклористики» (Л., 1978.—С. 199—273; 1981.—С. 205—276); 12 писем опубликовано в сборнике М. Азадовского «Статьи и письма. Неизданное и забытое» (Новосибирск, 1978.—С. 150—188). В этом же сборнике напечатана статья «Из научного наследия М. К. Азадовского (Замыслы и начинания)» (с. 189—237).

Среди публикаций Л. В. Азадовской, представляющих историко-литературную ценность, следует выделить журнальные статьи «К вопросу об издании «Полного собрания сочинений П. П. Ершова», «Крестьянин села Самарова», «Сибирский сборник» 1912 года (История несостоявшегося издания)» (см.: Сиб. огни.—

1962.—№ 9; 1964.— № 8; 1971.— № 10), «История одной фальсификации» (см.: Новый мир.—1965.—№ 3).

О Л. В. Азадовской см. некрологический очерк Н. Н. Яновского «Л. В. Азадовская в альманахе «Сибирь» (1985.—№ 2); перепечатан в книге: Яновский Н. Воспоминания и статьи.— Новосибирск, 1991.—С. 46—64. См. также воспоминания В. С. Бахтина, Б. Н. Путилова, Д. М. Молдавского, Г. К. Кислинской, А. И. Малютиной в настоящем издании.

В основу воспоминаний «Сердце не знало покоя» (название дано составителем) положены фрагменты письма Л. В. Азадовской писателю и этнографу Михаилу Алексеевичу Сергееву от 7—11 октября 1955 г. При подготовке этого материала к печати была сделана стилистическая правка, а также произведены некоторые сокращения. Оригинал письма хранится в Рукописном отделе Национальной Российской библиотеки в С.-Петербурге (Ф. 1109, не разобран). Составитель пользовался машинописной копией, хранящейся в личном архиве сына М. К. Азадовского и Л. В. Азадовской — Константина Марковича.

[1] *О событиях 1949 г., о травле крупнейших советских ученых, профессоров филологического факультета ЛГУ (М. К. Азадовского, Г. А. Гуковского, В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума и др.) см. в статье: Азадовский К. М., Егоров Б. Ф. О низкопоклонстве и космополитизме: 1948—1949 // Звезда.—1989.— № 6.— С. 157—176.*

[2] *Некоторые подробности выезда из блокадного Ленинграда отразились в письмах М. К. Азадовского 1942—1943 гг.*

29 января 1943 г. Марк Константинович пишет из Иркутска своей бывшей ученице Т. Э. Степановой (1900—1987; химик, научный сотрудник политехнического института, в 1916—1918 гг.—ученица М. К. Азадовского в Коммерческом училище в Лесном):

«Уехали мы из Ленинграда 20/III. До середины февраля мы жили сносно, хотя в абсолютной тьме и при температуре 8—5° Ц. Говорю сносно, ибо нас очень поддерживала столовая Дома Ученых, где мне предоставлено было право второго обеда (для Лид. Владимировны), а главное то, что с 15 января получал индивидуальный паек. В конце февраля—начале марта намечалась эвакуация Университета и мы решили присоединиться к ней, тем более, что мне была обещана машина непосредственно от Университета до другого берега Ладожского озера, т. е. минуя ужасный этап посадки на Фин. вокзале. (...)

В это время уехал Ленинградский университет,— и мы остались совсем одиноки. Но в то же время начинались решительные шаги к нашему спасению. Слухи о моем состоянии дошли до Москвы; там еще раньше были встревожены моей судьбой в связи с гибелью Н. П. Андреева и других фольклористов. Московские фольклористы поставили вопрос перед Президиумом Союза писателей и перед ЦК о скорейшей эвакуации, о том же хлопотал в Ленинграде местный Союз писателей. В результате, особым постановлением Смольного я (и вместе со мной Томашевский)

были эвакуированы с семьями самолетом в Москву. Перед этим я и Л. В. две недели провели в стационаре (стационар Союза писателей (ул. Воинова, 18), работал под руководством В. К. Кетлинской.—**Прим. Л. В. Азадовской**), что дало возможность хоть несколько окрепнуть. Собираться же пришлось буквально в два дня. Захватили кое-что и кое-как. Вы же знаете, как все ограничено на самолете. Захватил с собой экземпляр своей книги («История русской фольклористики».—**Прим. Л. В. Азадовской**), но я забыл к ней библиографию; захватил конспект лекций, но оставил ряд важнейших глав и т. д. О вещах не приходится и говорить. (...)

В Москве провели полтора месяца — и провели их очень хорошо: жили в гостинице «Москва»; наслаждались светом, теплом, горячей водой; не плохо и питали нас. Был большой соблазн остаться в Москве, но интересы Котика заставили выбрать Иркутск. Наркомпрос уговаривал меня поехать сначала на Кавказ, а потом присоединиться к Ленинградскому Университету, который сейчас находится в Саратове. Хороши бы мы были, отправившись на Кавказ!..

...Но возвращаюсь к рассказу. Уехали мы вовремя. Лидию Владимировну, с трудом оправившуюся после болезни, я кое-как довез. Ах, Тезик! Если б Вы видели наше шествие, наш последний исход из дома. Мы с Томашевскими наняли машину, которая должна была (ох какой ценой!) (половину индивидуального пайка Марка Константиновича за март пришлось отдать шоферу.— **Прим. Л. В. Азадовской**) увезти нас 18 марта на аэродром (посадочная площадка находилась на ст. Ржевка. Через неделю после нашего отъезда она была разбомблена.— **Прим. Л. В. Азадовской**) (за 20—25 верст от города). Уезжали мы из помещения Союза писателей (на Шпалерной). Вышли из дома часов в 9 вечера (17 марта.—**Прим. Л. В. Азадовской**) — впереди дворник вез на саночках наши вещи, за ним жена его — в коляске катила нашего Котика, а позади мы с Л. В., поддерживая друг друга, спотыкаясь, падая и снова спотыкаясь. Не раз сваливались санки с вещами — один раз чуть не перевернулась колясочка с Котиком... Темно, холодно, сугробы снега, оборванные провода, стекло под ногами...

А утром, в 6 ч. утра покинули город — и последним нашим ленинградским впечатлением был чудесный, изумительный Смольный, который вдруг открылся на каком-то повороте и казался в розовом утреннем тумане прозрачным и кружевным. Он точно реял в воздухе и был символом красоты любимого города и символом надежды на возвращение и новую радость. (...)»

Машинописная копия письма, подготовленного к печати Л. В. Азадовской, представлена К. М. Азадовским.

Бахтин Владимир Соломонович (род. 1923) — литературный критик, фольклорист, библиограф. Окончил русское отделение филологического факультета ЛГУ. Член Союза писателей. Автор книг: «Александр Прокофьев (1959; 1963); «1000 частушек Ленинградской области» (1969); «Сказки Ленинградской области» (1976, совместно с П. Ширяевой); «Песни Ленинградской области»

(1978); «Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области (1982); «Русский лубок XVII—XIX в.» (1962, совместно с Д. Молдавским) и др.

Ср. первую публикацию данных воспоминаний (см.: Бахтин В. Марк Азадовский // Сиб. огни.—1962.—№ 3.— С. 177—185).

Петровская Ольга Георгиевна (1902—1989) ученица М. К. Азадовского в Читинском институте народного образования в 1920-е гг. Работала под его руководством в Секторе фольклора Пушкинского дома.

В домашней библиотеке Азадовских сохранилась книга Н. С. Гумилева «Жемчуга», подаренная Марку Константиновичу О. Г. Петровской с такой дарственной надписью: «Дорогому Марку Константиновичу Азадовскому, свидетелю моей счастливой юности. Ольга Петровская. 5 июля 1937. Л⟨енинград⟩».

Название статьи дано составителем.

Кудрявцев Федор Александрович (1899—1976) — историк. Профессор Иркутского государственного университета. Автор работ по истории, этнографии и фольклору Сибири.

Чистов Кирилл Васильевич (род. 1919) — этнограф и фольклорист. Окончил Ленинградский университет в 1941 г., член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор. Автор книг: «Народная поэтесса И. А. Федосова» (1955); «Современные проблемы текстологии русского фольклора» (1963); «К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы» (1964); «Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.» (1967); «Севернорусская народная культура» (совместно с Г. С. Масловой. Хельсинки, 1976; на финском языке); «Русские сказители Карелии» (1980); «И. А. Федосова. Избранное» (совместно с Б. Е. Чистовой — составление, подготовка текстов и примечания, 1981); «Народные традиции и фольклор. Очерки теории» (1986); «И. А. Федосова. Историко-культурный очерк» (1988).

Перу К. В. Чистова принадлежит более 400 научных работ по проблемам фольклора, литературы и этнографии.

В настоящее время живет в Санкт-Петербурге. С 1980 по 1991 г.— главный редактор журнала «Советская этнография»; в настоящее время — Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии наук.

В сборнике публикуется первая часть воспоминаний К. В. Чистова. Автор работает над их продолжением.

[1] *См.: Семинарий русской филологии акад. В. Н. Перетца. 1907—1927.—Л., 1929.*

[2] *B. et J. Sokolov. A la recherche des bylines // Revue des études slaves.— T. 12.— Paris, 1922.— P. 202—205.*

Статья моя также не была опубликована в связи с началом войны.

[3] *См.: Новая Сибирь.—1945.—Кн. 15.—С. 73—79.*

[4] *Письмо В. В. Чистову см. в сб.: Из истории русской фольклористики.—Л., 1981.—С. 215. См. также: там же.— С. 210—211. См. также письмо В. И. Чичерову (17 февраля 1942 г.), хранящееся в архиве Государственного литературного музея.*

Ковалев Владислав Антонович (1922—1991) — литературовед. Окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1945 г. Доктор филологических наук, профессор. Автор книг: «О стиле художественной прозы Л. Н. Толстого» (1960); «Русская литература конца XIX века» (1979); «Поэтика Льва Толстого. Истоки. Традиции» (1983) и др.

Перу В. А. Ковалева принадлежит более 150 научных работ.

Ср. статью В. А. Ковалева о М. К. Азадовском: Педагог-писатель // Ангара.— 1965.—№ 1.—С. 123—125.

Трушкин Василий Прокопьевич (род. 1921) — критик и литературовед. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета в 1945 г. Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Автор книг: «А. Н. Толстой об общественной природе искусства и литературы» (1957); «Литературные портреты. Писатели-сибиряки» (1961); «Сибирский партизан и писатель П. П. Петров» (1965); «Литературная Сибирь первых лет революции» (1967); «Пути развития литературного движения Сибири (1900—1932)» (1970) и других работ по проблемам литературы. Редактор многих книг, в частности, научный редактор критико-библиографического словаря писателей Восточной Сибири «Литературная Сибирь» (1986.—Т. 1; 1987.—Т. 2), член редколлегии серии «Литературные памятники Сибири».

Название статьи дано составителем.

Черных Людмила Владимировна (род. 1921) — литературовед. Закончила Иркутский государственный университет в 1945 г. Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Башкирского университета. В настоящее время пенсионерка. Автор более тридцати работ по проблемам творчества А. Н. Островского, А. П. Чехова, С. Т. Аксакова, М. Л. Михайлова, по литературе и фольклору.

Живет в Уфе.

Кунгуров Гавриил Филиппович (1903—1981) — писатель, литературовед. Окончил Иркутский университет в 1928 г., кандидат филологических наук, профессор. С 1937 г. возглавлял кафедру литературы в Иркутском педагогическом институте. Автор многих романов, повестей и рассказов. Известен также как исследователь темы «Сибирь и литература». На протяжении мно-

гих лет переписывался с М. К. Азадовским. Два письма М. К. Азадовского Г. Ф. Кунгурову Л. В. Азадовская опубликовала в сб.: Азадовский М. К. Статьи и письма. Неизданное и забытое.— Новосибирск, 1978.—С. 165—172; 46 писем опубликованы Н. Яновским в книге: Литературное наследство Сибири.—Новосибирск, 1988.—Т. 8.—С. 226—310.

Первую публикацию данного материала см.: Кунгуров Г. Ф. Должно стать традицией // М. К. Азадовский и Сибирь: Тез. докл. на ученом совете филол. ф-та, посвященном 80-летию ученого-сибиряка.—Иркутск, 1969.—С. 17—19.

Малютина Антонина Ивановна (род. 1913) — литературовед и фольклорист. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького в 1937 г. и факультет русского языка и литературы Сталинградского педагогического института в 1941 г. Кандидат филологических наук, профессор, член Союза писателей. Автор книг: «Сибирские рассказы В. Г. Короленко и их народно-поэтическая основа» (1962); «Повесть об отце» (1974); «Певец земли енисейской» (о творчестве сибирского поэта Игнатия Рождественского, 1976); «Николай Устинович» (1979); «Николай Мамин» (1974). Перу А. И. Малютиной принадлежит более ста работ по проблемам литературоведения и критики, о творчестве Н. А. Некрасова, В. Г. Короленко, Г. И. Успенского, П. Л. Драверта, В. Я. Шишкова.

[1] *РО РГБ. Ф. 542, к. 66, ед. хр. 29. Л. 1—6.*

[2] *Это письмо, как и все приведенные здесь письма Азадовских, находится в моем личном архиве.*

[3] *РО РГБ. Ф. 542, к. 66, ед. хр. 30. Л. 22 (письмо от 27 декабря 1943 г.).*

[4] *Там же. Л. 24—25.*

[5] *См.: Развитие литературно-критической мысли в Сибири.— Новосибирск, 1986.—С. 96—102.*

[6] *Яновский Н. Л. В. Азадовская // Сибирь.—1985.—№ 2.— С. 94.*

Баранникова Елизавета Васильевна (род. 1923) — литературовед и фольклорист. Окончила филологический факультет Иркутского государственного университета в 1946 г. Доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Бурятии. Автор книг: «Бурятская сатирическая сказка» (1963); «Бурятские волшебно-фантастические сказки» (1978). Под ее редакцией издано три тома бурятских народных сказок в переводе на русский язык: «Бурятские народные сказки. Волшебно-фантастические» (1973), «Бурятские народные сказки. Волшебно-фантастические и о животных» (1976), «Бурятские народные бытовые сказки» (1981) (три тома научного издания сказок составлены совместно с С. С. Бардахановой и В. Ш. Унгаровым).

Е. В. Баранникова явилась одним из автором «Очерков истории бурятской литературы» (1959). Ее перу принадлежит большое количество статей, посвященных проблемам литературы и фольклора народов Сибири. Была редактором многих монографий и сборников.

На протяжении многих лет заведовала кафедрой литературы Бурятского педагогического института им. Д. Банзарова. Около двадцати лет является старшим научным сотрудником Института общественных наук Бурятского филиала СО РАН.

Длительное время переписывалась с М. К. Азадовским, письма которого хранятся в ее личном архиве, а письма Е. В. Баранниковой — в РО РГБ (Ф. 542).

Публикуемая статья взята из сборника «М. К. Азадовский и Сибирь» (Иркутск, 1969.—С. 7—9).

Лупанова Ирина Петровна (род. 1921) — литературовед и фольклорист. Окончила Ленинградский университет в 1947 г., доктор филологических наук, профессор. С 1951 по 1980 гг. преподавала в Петрозаводском университете им. О. В. Куусинена. Автор книг: «Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века» (1959); «Полвека. Очерки по истории советской детской литературы» (1969), более ста, научных работ по проблемам литературы и фольклора.

В настоящее время — пенсионерка. Живет в Петрозаводске.

Молдавский Дмитрий Миронович (1921—1987) — литературный критик, литературовед, фольклорист. Окончил педагогический институт им. Т. Г. Шевченко в Сталинабаде. Кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР. Автор книг: «Слушай, жизнь, стихи и призывы» (1944); «Горы, дороги, стихи» (1945); «Александр Прокофьев» (1958); «О Маяковском» (1958) и «Владимир Маяковский» (1961), обе книги — совместно с С. Владимировым); «О Михаиле Дудине, блокаде, стихах на войне и нашем поколении» (1965); «Русская народная сатира» (1967); «За песней, за сказкой, за олень-травой. Записки собирателя народного творчества» (1975); «Перекресток стихов и трасс» (1972); «От Невы во все стороны света» (1975); «Господин Леший, господин Барин и мы с мужиком» (1965), а также целого ряда статей о фольклоре, современной советской литературе и искусстве.

Публикуемые воспоминания впервые напечатаны под заголовком «Повесть об учителе» (с незначительными расхождениями в тексте) в кн.: Молдавский Дм. Снег и время.— Л., 1989.— С. 82—103.

[1] *Молдавский Д. М. Энциклопедия народного творчества // Ленинградская правда.—1956.—31 янв.*

[2] *Молдавский Дм. Путешественник-писатель // Ленинградская правда.—1965.—5 февр.*

[3] *Письма ученых-сибиреведов и писателей М. К. Азадовскому // Литературное наследство Сибири.—Новосибирск, 1969.— Т. 1.—С. 355.*

[4] *Там же.—С. 358.*

[5] *См.: Абрамов Ф., Лебедев Н. В борьбе за чистоту марксистско-ленинского литературоведения // Звезда.—1949.— № 7.—С. 165—169.*

[6] *См.: Жирмунский В. М. М. К. Азадовский: Биографический очерк // Азадовский М. К. История русской фольклористики: В 2 т.—М., 1958.—Т. 1.—С. 14.*

Кацнельсон Дора Борисовна (род. 1921) — литературовед. Окончила филологический факультет Вечернего педагогического института в Оренбурге в 1944 г., затем аспирантуру по кафедре славистики в Ленинградском университете. Преподавала фольклор и зарубежную литературу в Полоцком, Могилевском, Бурятском, Читинском, Дрогобычском педагогических институтах.

Автор ряда работ об Адаме Мицкевиче, о ссыльных революционерах в Сибири, о русской и польской поэзии, а также о ссыльных поляках в Сибири и их связях с декабристами. Работы Д. Б. Кацнельсон опубликованы в Польше.

В настоящее время — пенсионерка. Живет в Дрогобыче.

Путилов Борис Николаевич (род. 1919) — литературовед и фольклорист. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена в 1940 г. Доктор филологических наук. Автор около 400 научных работ, ответственный редактор более 50 книг. Автор монографий: «Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI вв.» (1960); «Славянская историческая баллада» (1965); «Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование» (1971); «Методология сравнительно-исторического фольклора» (1976); «Миф—обряд—песня Новой Гвинеи» (1980); «Героический эпос черногорцев» (1982). Автор сборников текстов: «Песни гребенских казаков» (1946); «Былины» (1957); «Былины» (в 2-х т; совместно с В. Я. Проппом, 1958); «Исторические песни XIII—XVI вв.» (1960); «Сборник Кирши Данилова» (совместно с А. П. Евгеньевой, 1958; 1977) и др.

В настоящее время Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии наук.

Название статьи дано составителем.

Б. Н. Путилов — автор предисловия к сб. М. К. Азадовского «Статьи о литературе и фольклоре» (М.; Л., 1960.—С. 3—13).

Кислинская Галина Константиновна (род. 1906) — двоюродная сестра Л. В. Азадовской. Училась в Дальневосточном государственном университете (не окончила). Более пятидесяти лет работала машинисткой.

В настоящее время пенсионерка. Живет в Петербурге.

Название статьи дано составителем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПИСЬМО М. К. АЗАДОВСКОГО С. И. ВАВИЛОВУ

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК СССР
СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ ВАВИЛОВУ

9 мая с. г. (находясь на бюллетене) я получил от Дирекции Института литературы уведомление об увольнении (с 23 мая) из числа сотрудников Института, что уже и выполнено. Увольнение мотивировано истечением 2-х месячного срока со дня потери трудоспособности,— однако, я полагаю, что вправе рассматривать эту официальную мотивировку лишь как смягченную форму, за которой скрываются совершенно иные основания, чего, впрочем, не скрывает и сама администрация Института. Несомненно, что это решение является результатом нескольких заседаний Ученого Совета Института литературы и филфака ЛГУ, посвященных вопросу борьбы с космополитизмом в науке, и на которых, между прочим, шла речь и о моих научных трудах, и о моей деятельности.

Я ни в коем случае не могу отрицать наличия в своих работах, написанных за 35 лет своей научной деятельности, большого числа серьезных ошибок,— я остановлюсь на них подробно ниже — но я полагаю, что как бы ни были они значительны, они едва ли могут дать основание для всех тех обвинений, которые были высказаны по моему адресу, и вместе с тем как бы начисто зачеркнуть весь мой долголетний труд. К тому же мои ошибки не являются в основном исключительно индивидуальными, но в значительной степени обусловлены общим состоянием нашей науки в различные этапы ее развития.

По-видимому, значительную роль сыграли, главным образом, обвинения общественного порядка, которые были высказаны в заседаниях упомянутых Ученых Советов и которые опорочивали меня как советского гражданина и ставили под сомнение мою честь и патриотическое чувство. Именно это обстоятельство, перед которым отступают на задний план и факт незаслуженного увольнения, и лишение меня источников существования, заставляет меня обратиться с настоящим заявлением. Я обязан это сделать и потому, что вследствие тяжелой болезни, заставившей меня провести в постели свыше 2-х месяцев, я не мог присутство-

вать ни на одном заседании и не имел возможности выступить ни с самокритическим анализом своих работ, ни с опровержением накопившейся вокруг моего имени невероятной груды лживых измышлений, инсинуаций, клеветнических искажений фактов моей литературной и общественной деятельности и даже прямых вымыслов в виде сообщения фактов, которые никогда не имели места в действительности.

Я делаю это со значительным опозданием еще и потому, что только теперь я более или менее оправился после болезни и получил возможность ознакомиться со стенограммой заседания. К сожалению, все мои попытки получить стенограмму заседания Ученого Совета Института литературы остались безрезультатными, и в моем распоряжении имеется лишь стенограмма заседания Ученого Совета филфака с приложением к ней текста специально посвященного мне выступления И. П. Лапицкого, представляющего собою, насколько мне известно, сводку того, что он говорил и в университете, и в Пушкинском Доме.

Я не был бы достоин звания советского ученого, если бы позволил себе враждебно и отрицательно относиться к критике своих работ, я никогда не замалчивал своих ошибок, и еще в прошлом году, во время обсуждения редакционной статьи в газете «Культура и жизнь» о Веселовском, я дал их развернутый анализ, который сохраняет свою силу и до настоящего времени. В критических выступлениях по моему адресу отчетливо звучала тенденция представить весь мой научный путь в целом как сплошную систему компаративистских и космополитических идей. Это совершенно неверно. Еще со студенческих лет я выступал против теории заимствования, а впоследствии совершенно определенно декларировал свое отношение к компаративизму. В 1933 г. мною был написан по поручению ВОКСа обзор фольклористических изучений в СССР за 15 лет. Обращаясь в этой статье к западноевропейской научной аудитории, я совершенно четко указывал несовместимость принципов компаративизма с задачами и методами советской фольклористики (см.: VOKS. 1933, vol. IV, стр. 56). Вне области компаративистских интересов лежали и все мои основные работы.

Мои исследования захватывали разные области. Они включали и вопросы истории русской литературы и истории русского искусства, и этнографии Сибири и т. д. Основными же моими трудами являются, конечно, работы по фольклору, основанные в значительной степени на материалах моих экспедиций. При всем внешнем разнообразии этих тем они составляют для меня некое единое целое.

В моих работах по русскому фольклору меня интересовала прежде всего проблема национального своеобразия и национальной оригинальности как самого фольклора, так и науки о нем. Отсюда ряд моих работ, вскрывающих своеобразие русских сказителей, отсюда же — задолго до того, как эта тема стала общепризнанной — возникли мои работы о значении в деле русской науки о фольклоре идей Белинского, Добролюбова,

Чернышевского, Герцена. В этих работах впервые было установлено и самое понятие революционно-демократической фольклористики. Вместе с тем я вскрывал теоретическое значение в науке о фольклоре деятельности Радищева, Пушкина, Лермонтова, декабристов и роль в их творчестве народной поэзии. Наконец, ряд работ посвящен проблеме советского фольклора. Основные результаты этих исследований, решаюсь сказать, прочно вошли в обиход советской фольклористики и советского литературоведения.

Но вместе с тем я должен констатировать, что я не замечал и долго не понимал существенной ошибки своих построений. Они вводили новые материалы и новые точки зрения, но в основном шли в русле старой науки и отнюдь не противостояли ей принципиально. Объявляя борьбу компаративизму, отвергая его методологию, фактически я все же применял его методику в частных исследованиях и тем самым, незаметно для себя, скатывался на его рельсы. Таков в конечном счете характер моих (выполненных совместно с покойным Н. П. Андреевым) комментариев к сказкам Афанасьева, из которых вышла статья об источниках сказок Пушкина.

Я не могу не признать сейчас эту статью неправильной. И не только в том дело, что она по существу оказывалась типично компаративистским построением, но в том, что она уводила от основных проблем пушкинского фольклоризма и мешала его правильному пониманию; в том, что в ней оказывалась искаженной проблема национального своеобразия пушкинских сказок. Эта статья оказалась вне подлинных интересов советской науки, и я считаю глубокой ошибкой включение ее в мою книгу «Литература и фольклор». Советская общественность подвергла эту статью суровой критике, и я признаю ее вполне правильной.

Серьезные ошибки, несомненно, находятся и в моих работах по истории русской фольклористики. Я выделил революционных демократов, но я не провел должной дифференциации их наследия и науки буржуазной. Об этом мне приходилось говорить уже при предшествующих обсуждениях и тогда же я вскрыл основной смысл допущенной мной ошибки. В результате своих работ я пришел к выводу, что русская буржуазная, домарксистская наука о фольклоре неизмеримо выше по своему идейному уровню западноевропейской фольклористики. Причину этого явления я усматривал в том, что русская фольклористика, сложившаяся в 60—70 годы, в той или иной степени отразила влияние революционно-демократической мысли, и с этих позиций я рассматривал деятельность и Веселовского, и Потебни, и Пыпина, и Тихонравова, и других деятелей буржуазной науки. Но я не заметил, вернее, не сумел понять той борьбы, которая существовала и не могла не существовать в науке о фольклоре: борьбы буржуазной методологии с мировоззрением революционной демократии. Неправильно было видеть пути развития науки в мирном сожительстве враждебных миросозерцаний и тем самым невольно окрашивать буржуазный либерализм в демократические и даже ре-

волюционные тона. Нужно было задуматься над тем, что представляют собою по своей идейной сущности основные тенденции буржуазной науки, вскрыть политическую функцию тех методов, которые были ею выработаны, проследить, куда они неизбежно ведут. Оттого-то я не сразу понял подлинную сущность дискуссии о Веселовском, и это привело к тому, что я не сумел занять в ней должной и правильной позиции.

Я отчетливо вижу теперь свою основную ошибку. Я слишком связал себя старыми традициями и, не разорвав до конца с ними, не преодолев наследия буржуазных ученых, пытался строить новую науку. Связать же современную советскую науку со старыми научными традициями значило забыть их качественное отличие, значило бы забыть, что между ними и нами стоит Великий Октябрь. В этом смысл ошибок моих статей о Веселовском, и в преодолении их должна лежать основная задача моей дальнейшей научной деятельности. Нужно отчетливо осознать и помнить, что развитие фольклористики, как и всякой другой гуманитарной дисциплины, неизбежно отражает борьбу классов в развитии общества; поскольку же мы выходим в своей деятельности за пределы национального материала и за пределы национального научного развития, тем с большей остротой и с максимальной отчетливостью должно осознать и учесть свое место в той борьбе, которая расколола сейчас весь мир на два лагеря. Теоретические вопросы нельзя отрывать от повседневной борьбы. Это требование должно лечь в основу деятельности каждого исследователя. Я часто забывал об этом, и потому-то в моих работах оказалось столько ошибок, снижавших в конечном итоге их объективное значение. Против моей воли и желания в них еще зачастую силен академический объективизм, а в настоящих условиях это означает отход от партийной политической линии и свидетельствует о неправильном понимании марксистско-ленинского учения. Подлинный ученый не имеет права ни на минуту забывать о текущих исторических задачах, и это сознание должно определенным образом отражаться в его общих концепциях.

Теоретически все это было давно мной осознано, но уберечься от грубых промахов я не смог. Все эти свои ошибки я признаю, но решительно отрицаю их якобы сознательную космополитическую, а стало быть, и антипатриотическую направленность, как старались представить дело Лапицкий и другие, искажая при этом мои высказывания и приписывая мне то, чего я никогда не говорил и не писал и что противоречит основным моим воззрениям. Ибо, повторяю, моими основными темами всегда являлись и являются национальное своеобразие и исключительное художественное совершенство русского народного творчества и идейная высота русской науки о фольклоре. Этому в основном посвящена вся моя жизнь, и я полагаю, что в деле разработки и призыва к изучению этих проблем мои работы сыграли все же некоторую роль в истории советской науки о фольклоре.

Я всегда был и остаюсь в своих работах неизменным патрио-

том, человеком, глубоко любящим свое народное творчество — зачем иначе стал бы я им заниматься!— я всегда с чувством патриотической гордости вскрывал и подчеркивал примат во многих областях русской науки о фольклоре, ее идейную высоту и художественное превосходство русской сказки и ее носителей.

Поэтому-то так глубоко оскорбительны для меня и несправедливы обвинения в космополитизме, построенные к тому же сплошь на искажении моих мыслей и слов, на извращениях моих подлинных высказываний и приписывании мне суждений, которых я никогда не делал и которые мне чужды по самой их сущности. Таковы, например, приписываемые мне утверждения, что Пушкин стал записывать сказки только после ознакомления с работами Фориэля, что будто русскую и славянскую науку о фольклоре я выводил из иностранных источников. Всего этого нет и не могло быть и прямо противоречит всем моим работам по фольклористике, в которых всегда утверждались оригинальность, своеобразие и самостоятельность русской научной мысли в области изучения фольклора.

Желая во что бы то ни стало изобразить меня космополитом-компаративистом, приводят мою статью о Тэне и Омулевском. Но как раз именно этот очерк целиком направлен против методики компаративизма и имел своей целью борьбу с последним. Потому-то этот очерк и был включен в состав сборника, посвященного памяти Н. Я. Марра. Свою основную задачу в нем я так сформулировал: «Подчеркнуть принципиальную необходимость анализа сходных и совпадающих сюжетов вне путей влияния и заимствования». Я пытался показать, что совпадение сюжетной схемы у двух разных писателей оказалось возможным «в результате органического процесса отображения реальной обстановки и определенного движения идей». Плохо это или хорошо было выполнено — другое дело, но во всяком случае это никак не может быть рассматриваемо как компаративистское исследование.

Конечно, во всякой полемике возможно неправильное толкование отдельных мыслей и положений и даже целостной концепции и, конечно, я не стал бы останавливаться на отдельных ошибках или неточностях, но в данном случае перед нами сплошная и совершенно сознательная цепь нарочитых извращений, сопровождаемых к тому же утверждениями, что приводятся подлинные цитаты из моих трудов.

Вот характерный пример. Речь идет о моей рукописной статье «Классики марксизма о фольклоре». В стенограмме читаем: «На первом же листе и в первом же абзаце Азадовский дает свое определение советской фольклористики как науки». И далее под видом подлинной цитаты (Лапицкий так и говорит: «Цитирую по машинописному экземпляру, принадлежащему Фольклорному отделу ИРЛИ») приводится следующее, якобы мое утверждение: «Под советской фольклористикой следует понимать такое марксистское направление науки о фольклоре, которое развивалось вне хронологических и территориальных границ». И затем следует разъяснение, что в таком «порочном определении» особенно от-

четливо сказался космополитический характер всех моих работ.

Конечно, я никогда ничего подобного не писал и никогда не давал столь безграмотных формулировок. У меня сказано буквально следующее: «В истории изучения фольклора совершенно новым этапом явилась советская фольклористика. Понятие «советская фольклористика» ни в коем случае не может быть уложено в какие-либо территориальные или хронологические рамки; под ней дóлжно разуметь особое направление в науке о фольклоре, сложившееся в процессе революционного и социалистического строительства и отобразившее общий идейный рост страны и выработавшее свою методологию и методику на основе марксистско-ленинского понимания исторических процессов». Мое определение оборвано в середине на точке с запятой, а приведенная часть совершенно искажена, вследствие чего и получился смысл, совершенно чуждый тому, что я думал и писал.

Уже из самóй подлинной цитаты видно, как далека моя мысль от какого бы то ни было космополитизма. Если же взять ее в контексте, то уже станет абсолютно ясно, как следует понимать упоминание о хронологических и территориальных рамках. Указывая на невозможность ограничить советскую фольклористику только хронологическими рамками, я имел в виду необходимость отграничения двух разных понятий: «советская фольклористика» и «фольклористика советского времени», ибо не все, что появилось в области фольклора за последние 30 лет, принадлежит к советской фольклористике как определенному идейному течению. Кроме того, в состав советской фольклористики входит не только то, что написано в советскую эпоху, но в него включаются, как основа и источник, суждения о народе и народной словесности Маркса, Энгельса, высказывания Ленина и Сталина, из которых многие относятся еще к дореволюционному времени, а также и многие важнейшие суждения Горького как советского, так и досоветского времени. Наконец, в этом же очерке я останавливался и на трактовке вопросов фольклора в старой партийной печати.

Совершенно понятен поэтому и смысл упоминания в моей формуле о территориальных границах. В территориальные рамки можно укладывать понятие любой буржуазной науки о фольклоре, ибо в ее состав входят явления совершенно различные по своему идейному качеству, в понятии же «советская фольклористика» определяющим признаком является идейный момент, и только он заставляет выделять советскую фольклористику как качественно новый этап в истории науки о фольклоре. Неужели все это хоть сколько-нибудь похоже на космополитизм?

Подобными же методами цитирования и искажения подлинных фактов Лапицкий и некоторые другие (Ширяева, Кравчинская) создавали обвинения общественного порядка.

Основное и сáмое тяжелое обвинение, выдвинутое против меня, заключалось в том, что в своих статьях, опубликованных на иностранных языках т. е. предназначенных для западноевропейских читателей, я приспосабливался к воззрениям последних и сознательно снижал или ослаблял идейно-политические

моменты, имевшиеся в моих русских работах. В пример приводились упоминавшиеся уже выше обзор фольклористических изучений СССР на французском языке и статья «Пушкин и фольклор» — на английском. Самым категорическим образом отвергаю такого рода обвинения.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что обе эти статьи опубликованы не в зарубежных изданиях, а в изданиях советских, а именно в издании ВОКС, причем первый очерк был написан мной в 1933 г. по прямому поручению данной организации и опубликован среди ряда других аналогичных статей, вошедших в серию «Наука в СССР». Публикация в издании ВОКС, естественно, обусловила и некоторую специфику очерка, необходимость которой всегда настоятельно подчеркивали и сама редакция, и контролирующие органы.

В выступлениях И. П. Лапицкого и других сказано — и это нашло место в резолюциях,— что я под видом народного творчества пропагандировал перед западноевропейскими читателями различного рода антисоветские, эсхатологические легенды, выдавая их за подлинное народное творчество. Эти утверждения подкреплялись якобы подлинными цитатами из моей статьи, однако и в данном случае под видом цитат преподносились отдельные, вырванные из контекста фразы в неточном переводе. Я действительно упоминал в своем обзоре разного рода эсхатологические легенды (кстати, очень коротко, а не с чрезмерной подробностью и распространенностью, как утверждалось) типа легенд о наказанном за безбожие коммунисте. Не упомянуть о них я, конечно, и не имел никакой возможности, ибо еще задолго до моей статьи они были широко известны в западноевропейской фольклористической печати и отсутствие упоминаний о них могло бы быть истолковано в нежелательном для советской науки смысле, т. е. как стремление к замалчиванию некоторых фактов. Однако, упоминая о данных легендах, я тут же подчеркивал их социальные истоки и их кулацкую сущность. «Нетрудно определить социальную среду и настроения, которые вызвали фольклор такого типа,—писал я.—Этот эсхатологический фольклор по существу не что иное, как отражение контрреволюционных сил и выражал контрреволюционные тенденции кулаческих слоев крестьянства и близких к ним групп» (VOKS, 1933, vol. IV, стр. 48).

В связи с этой статьей мне ставится в вину и мой очерк «Ленин в фольклоре» (1934), где также упоминаются эти легенды. Лапицкий уверял, что я побоялся впоследствии упомянуть эту статью в библиографическом указателе своих работ, желая скрыть ее от советских читателей, и в то же время сознательно «подсунул» в библиографию указанную выше французскую статью, стремясь во что бы то ни стало ознакомить читателя с этой «кулацкой стряпней», и что все это доказывает мое неуважение к имени Ленина. По этому поводу сообщаю: отсутствие данной статьи в печатном списке моих работ (составленном вообще не мною, вопреки беспрерывным утверждениям Лапицкого) объясняется

исключительно тем, что сборник, в котором она была опубликована («В. И. Ленину». Академия наук СССР. М.—Л., 1934), был впоследствиии изъят, как содержащий статьи лиц, оказавшихся врагами народа,—и только этим объясняется отсутствие данного очерка в библиографическом списке моих трудов.

Во-вторых, и в данном очерке, как и в статье для ВОКСовского сборника, упоминание об этих легендах также сопровождалось характеристикой их социальной сущности; упоминание же о них в данном случае имело целью показать, как в фольклоре первых лет революции отражалась классовая борьба и как такого рода легенды в конце концов оказывались побежденными новым фольклором, в котором отразились пафос и героика революции. Подводя общие итоги, я писал: «Самый факт создания ленинского фольклора уже свидетельствует о том, что эти противоречия будут изжиты и что старое миросозерцание уже на пути к своей гибели, ибо ленинский фольклор свидетельствует о новых идеалах...» и т. д. (назв. сб., стр. 897).

Я далек от мысли считать обе эти статьи безупречными,— они представляются мне пройденным для меня этапом: они недостаточно четки в методологическом отношении, недостаточно остры политически, и в них явно была недостаточно проведена критика источников и проч., но только как клеветническое могу расценивать обвинение в неуважении к великому имени Ленина. Основная идея моей статьи и ее основной смысл и характер достаточно ясно могут быть определены следующей цитатой: «Значение ленинского эпоса... в его общем колорите, во всей системе образов, в которых передано представление о великом вожде угнетенных всего мира...» и далее, приводя известную формулу тов. Сталина о причинах победы русской революции и гибели Колчака и Деникина, я писал: «Ленинский фольклор — одна из ярких иллюстраций этой формулы. Ленинский фольклор — четкий исторический документ, свидетельствующий об осознании этой роли пролетариата, которую фольклор персонифицирует в образе Ленина. Это — стихийная тяга к Ленину, непоколебимая вера в его мощь, вера в Ленина и его партию как подлинных заступников и освободителей угнетенных народов бывшей империи» (стр. 892). Я позволю себе напомнить, что настоящий очерк был первым в фольклористической литературе исследовательским опытом данной, весьма отвественной, темы[1].

---

[1] Следует привести яркий пример, иллюстрирующий недобросовестность автора посвященного мне выступления: Лапицкий пишет, что в данной статье («Ленин и фольклор») самое имя Ленина встречается лишь на 8—9 странице, а все предыдущие заполнены изложением антисоветских легенд,— между тем, изложение именно ленинского фольклора начинается уже у меня с 4-й страницы, а эсхатологическим легендам посвящена всего одна страница с четвертью; нет там никаких «многочисленных» вариантов, как уверяет Лапицкий, а в примечании сообщен лишь один текст. Он же уверяет, что этюд о Ленине пред-

Еще более искажена подлинная сущность дела в примере со статьей в другом сборнике ВОКСа «Пушкин и фольклор». Еще до заседания Ученого Совета мне стало известно выдвинутое против меня обвинение, будто бы для английских читателей я изготовил совершенно иной текст, чем для русских, отличающийся от последнего тем, что в нем были затушеваны основные идеологические установки и сознательно включены элементы космополитического порядка. Из некоторых деталей дошедшего до меня известия я сумел понять, что статью в издании ВОКСа сопоставляли с моей более поздней статьей под тем же заглавием, первоначально опубликованной во «Временнике Пушкинского дома», а затем вошедшей в мою книгу «Литература и фольклор». Тогда же, еще будучи болен, я все же сумел продиктовать письмо директору института и декану факультета, в котором разъяснил это недоразумение и указал, что я никакой специальной статьи для ВОКСа в данном случае не писал, а последний, по собственной инициативе, организовал и напечатал перевод моей ранней статьи, написанной еще в 1936 г. и опубликованной в органе ЦК ВКП(б) «Большевистская печать» (1937, № 2). Точность и правдивость моего заявления была тогда же подтверждена директором Филологического института, чл.-корр. Ак. наук СССР М. П. Алексеевым, сверившим по поручению декана тексты оригинала и перевода и установившим их полную идентичность.

Казалось бы, вопрос должно было считать исчерпанным, однако, эта клевета по-прежнему фигурировала в выступлениях. В частности, Лапицкий договорился до того, будто бы я в статье, предназначавшейся для широкой партийной аудитории, проводил космополитические тенденции, имея в виду возможность перевода данной статьи на иностранные языки. Нелепость этой «гипотезы» настолько очевидна, что едва ли есть надобность ее опровергать. Отмечу только, что ВОКС приступил к организации своего сборника в начале 1938 г., т. е. через год после появления моей статьи в журнале «Большевистская печать».

Статья же моя в «Пушкинском Временнике», которую Лапицкий противопоставляет статье в «Большевистской печати», написана позже; она действительно более подробно и углубленно разрабатывает проблему, однако, ВОКС, руководясь своими соображениями, совершенно самостоятельно и не консультируясь со мной, выбрал для публикации текст ранней статьи,—может быть, как более краткой.

Из боязни отнять слишком много времени я не могу остановиться с такой же подробностью на других примерах, но с полной ответственностью заявляю, что все они подобраны по тому же

шествовал статье в изд. ВОКС, но, как легко видеть из выходных данных, их последовательность обратная. Это, конечно, мелочи, но они характерны как пример сознательно проводимого метода опорочивания во что бы то ни стало, не пренебрегая никакими средствами.

плану и методу,— особенно это относится к выступлению Ширяевой и Кравчинской, которые (особенно первая), не довольствуясь искажением фактов, просто-напросто сочиняли их. Ширяева обвиняла меня даже в идейных связях с колчаковщиной, чего никогда не было: во время своего пребывания в Сибири я всегда относился отрицательно к колчаковскому режиму, и только случайность спасла меня от репрессий. Та же Ширяева заявляла, что я мешал продвижению в аспирантуру коммунистов, «травил» их, сознательно давал им непосильные темы и проч. Все это трудно иначе квалифицировать, как вздорный и недостойный вымысел, что очевидно каждому, кто знаком с моей работой по подготовке кадров; общеизвестно, какое количество молодежи — беспартийной и партийной (в том числе и сама Ширяева) введено мной в советскую науку; большое количество печатных работ молодых фольклористов (и в том числе партийцев и комсомольцев) было подготовлено по моей инициативе и под моим руководством: многие из них вышли в свет под моей редакцией и с моими предисловиями[1]. В 1938 г. происходил Всесоюзный конкурс научных

---

[1] Чтобы не быть голословным и в связи с тем, что были высказаны обвинения вообще в отсутствии подготовки мною кадров, позволю себе назвать хотя бы часть имен, подготовленных мною специалистов: 1. Д-р фил. н. В. Г. Базанов, зав. отд. лит. и ф-ра Кар.-Фин. н.-иссл. ин-та (Петрозаводск) и ст. н. с. ИЛИ. 2. Проф. В. Д. Кудрявцев—лингвист и фольклорист (Иркутск). 3. Канд. фил. н. И. Г. Парилов, доц. пед. ин. (Новосибирск). 4. Канд. фил. н. А. А. Богданова, доц. пед. ин. (Новосибирск). 5. Канд. фил. н. Е. Б. Вирсаладзе, ст. н. с. Груз Ак. н. (Тбилиси). 6. Докторант ИЭ АН К. А. Четкарев, б. дир. Мар. н.-иссл. ин-та (Йошкар-Ола). 7. Канд. фил. н. Г. Ф. Кунгуров, писатель и литературовед, доц. пед. ин. (Иркутск). 9. Канд. фил. н. И. М. Колесницкая, н. сотр. фил. ин. ЛГУ (Ленинград). 10. Канд. фил. н. И. И. Кравченко, б. асп. каф. ф-ра ЛГУ, доц. пед. ин. (Краснодар), погиб на фронте. 11. А. М. Кукулевич, б. асп. каф. ф-ра, автор ряда работ по ф-ру и ист. лит., погиб на фронте. 12. Канд. фил. н. А. Н. Нечаев, секретарь секц. нар. творч. ССП (Москва). 13. М. М. Михайлов, б. асп.-заочн., автор сб. ф-ных мат. Кар.-Фин. ССР, погиб на фронте. 14. И. Осипов, прикоманд. асп. правительством Коми АССР (Сыктывкар), погиб на фронте. 15. К. В. Чистов, асп.-заочн., н. сотр. К.-Ф. базы АН, имеет законч. дисс. 16. В. В. Чистов, канд. эк. н., автор сб. стат. и отд. публ., посв. сов. ф-ру К.-Ф. ССР, ныне работн. Внешторга (Москва). 17. А. Д. Соймонов, быв. зав. отд. ф-ра К.-Ф. ин. (Петрозаводск), позже асп. ЛГУ, ныне врем. прервал работу всл. тяж. бол. 18. Н. В. Новиков, автор одного из крупнейш. ф-ных сб. сов. врем., оконч. асп. ЛГУ в 1948 г., заканчив дисс. 19. Канд. фил. н. Л. А. Лебедева, ст. преп. ун-та (Иркутск). 20. Д. М. Молдавский, оконч. асп. в 1948 г., журн. и крит., преп. ун-та (Тарту). 21. Г. А. Озерова, зав. рук. отд. Гос. публ. библ. им. С.-Щедрина (Ленинград) и др.

Лица, упомянутые под № 1, 3, 6, 7, 13, 17, 18,— члены ВКП(б). Кравченко (№ 10), по имеющимся у меня сведениям, вступил в партию на фронте, незадолго перед своей смертью. Возможно, что число партийцев в действительности выше, т. к., несомненно, некоторые из названных лиц также стали членами партии, перейдя в нее из комсомола.

Этот список, конечно, не полон, но смею думать, что он достаточно

работ молодежи в ознаменование 20-летия комсомола. По фольклору на конкурс были представлены три работы. Все эти три работы принадлежали моим ученикам и были выполнены под моим руководством и наблюдением. Ве эти три работы были премированы. Я счастлив, что могу добавить к этому, что обвинения эти вызвали сильнейшее негодование среди самих моих учеников, которые, не сомневаюсь, не откажутся подтвердить это, если им будет сделан специальный запрос по этому поводу.

Я не думаю, что мне следует доказывать необоснованность таких заявлений, в речах Лапицкого и Ширяевой, в которых утверждалось, что я снизил качество собирательской работы, что я сам являюсь плохим собирателем, что никогда не понимал сущности и значения собирательской работы и пр. Такие заявления, равно как и утверждение о моем презрении (и даже чуть ли не ненависти) к сказителям, можно рассматривать лишь как безответственные, демагогические заявления, необходимые их авторам для создания определенного эффекта.

Не могу согласиться и с обвинением в **развале** работы Сектора фольклора. При таком обвинении нужно, очевидно, забыть, что я почти двадцать лет жизни отдал работе по созданию отдела фольклора в Академии наук и его укреплению. Должен признать, что моя болезнь в значительной мере отразилась на оперативности и темпах работы Сектора за последний год, но от этого далеко еще до развала. Учитывая свое состояние, я неоднократно в течение зимы 1948/49 г. ставил вопрос об отказе от заведывания, но неизменно встречал сильнейшее противодействие со стороны дирекции Института и, главным образом, моих ближайших сотрудников, в частности тех, кто, спустя какой-нибудь месяц, заявляли о моей негодности к руководству и развале мной работы.

Меня упрекали в том, что будто бы я, по существу, отказы-

ясно опровергает заведомо неправильные утверждения о моем отношении к кадрам и в частности к коммунистам.

Настоящий список включает лишь имена прямых моих учеников, в юридическом смысле этого слова, т. е. тех, кто проходил под моим руководством аспирантуру или занимался в руководимых мною семинарах. Но в него с полным правом может быть включен еще целый ряд имен лиц, которые работали под моим руководством в качестве прикомандированных ко мне для усовершенствования, кто по своей инициативе добровольно работал у меня для повышения квалификации, кто работал под моим руководством в экспедициях и кто, наконец, выполнял свои работы в русле моих исследований. Список таких лиц оказался бы достаточно значительным и включал бы в себя имена очень видных современных исследователей.

(В этой сноске, как видим, есть «сбой» нумерации при перечислении учеников М. К. Азадовского: после Г. Ф. Кунгурова, идущего в списке седьмым, сразу следует фамилия И. М. Колесницкой, помеченная номером «девять». Этот «сбой» имеется и в машинописной копии письма, хранящейся в архиве К. М. Азадовского, поэтому он сохраняется в данной публикации.— *Прим. ред.)*

ваюсь от перестройки, и своей работой над историей русской фольклористики и отражения народного творчества в русской литературе я только хочу уйти от кардинальных проблем нашей науки и тех проблем, которые подняты дискуссиями последнего времени в связи с историческими решениями партии по идеологическим вопросам.

Все это совершенно неверно. Я понимал и понимаю перестройку не как простое декларативное заявление, а как ее непосредственную реализацию на деле в виде разрешения конкретных научных вопросов. Поэтому-то я придаю такое большое значение своей работе по истории русской фольклористики, которую я мыслил в теснейшей связи с развитием русской литературы, с одной стороны, и развитием этнографических изучений, с другой. Моя работа была задумана как обширный итоговый труд, который должен был осмыслить с позиций советской науки весь путь, пройденный русской фольклористикой, и осмыслить ее основные проблемы. Я хотел дать в руки нашей молодежи книгу, которая позволила бы ей отказаться от пользования устаревшими, но до сих пор остающимися единственными пособиями (как, например, четырехтомный труд Пыпина). В основном моя работа была закончена еще до войны; в настоящее время я отчетливо вижу дефекты этого первого варианта, и последние два года напряженно работал над ее перестройкой; некоторые отдельные главы в новой редакции уже опубликованы или сданы для различных изданий (для сборника о Белинском, для сборника о Радищеве).

Я убежден, что необходимость работ такого типа теперь особенно остро ощущается; в настоящее время более чем когда-либо приобретает особую важность и значение задача исторического изучения науки, ибо необходимо с новых позиций просмотреть весь пройденный путь и осмыслить все движение науки о фольклоре в свете задач современности. Решения партии по идеологическим вопросам дают развернутую программу для развития искусства и науки, из них должны исходить в своей деятельности и фольклористы. Особенно важно показать значение трудов Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина в деле создания науки о фольклоре, а также наследия русских революционных просветителей и Горького. Это прямой вывод, который должен сделать каждый фольклорист и в первую очередь ученый, занимающийся вопросами истории науки.

Я не думаю, конечно, подменять работами историографического содержания все основные задачи фольклористических исследований, но для меня лично — в плане моего научного развития — такая форма является наиболее удобной для постановки и посильного разрешения ряда проблем нашей науки.

Советская фольклористика, как и прочие родственные дисциплины, может быть построена лишь на основе марксистко-ленинского учения об обществе и глубочайшего и исключительно плодотворного для науки учения т. Сталина о роли общественных идей, до сих пор не учтенного в должной мере фольклористами. Нужно на первый план выдвинуть вопросы идейного содержания

1611—13

фольклора в связи с его историческим значением и уметь понять памятники фольклора как отражение различных сторон общественной жизни и общественных отношений. Необходимо выработать историческую точку зрения на явления фольклора и осмыслить его место в практике строительства социалистической и коммунистической культуры. А потому начисто должны быть отброшены всевозможные тенденции экзотического любования стариной и формально-эстетского отношения к фольклору, столь же вредного, как и противоположные им нигилистические трактовки художественного наследия фольклора. И то и другое глубоко враждебно партийному пониманию вопросов народного творчества. Нужно только уметь различать различные стороны в художественном наследии фольклора.

Все эти положения были уже давно мной осознаны,— однако в своих работах я еще недостаточно сумел реализовать их в конкретных исследованиях, и это является также одной из ошибок, которые мне надлежит преодолеть.

Я считаю своим долгом довести все эти мои соображения и объяснения до Вашего сведения. Как советский ученый, как человек, проведший в Академии наук бо́льшую часть своего научного пути, как работник Академии, неоднократно получавший и выполнявший ответственные поручения Президиума, я обращаюсь к Вам как к высшей научной инстанции с просьбой разобрать мое заявление и освободить меня от позорных обвинений, избрав для этого ту форму, которую Вы найдете возможной и удобной.

Адрес — Ленинград, ул. Плеханова, д. 56, кв. 3, тел. 189-57. [1949].

ПИСЬМО М. К. АЗАДОВСКОГО С. Ф. БАРАНОВУ

В 1948—1949 годах М. К. Азадовский, наряду с другими известными учеными-филологами, профессорами Ленинградского университета (Г. А. Гуковский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум), был подвергнут уничтожительной и несправедливой критике. Так называемая «кампания по борьбе с космополитизмом», носившая откровенно политический (и, как правило, антисемитский) характер, вылилась в травлю лучших представителей советской интеллигенции. Оклеветанные, публично опозоренные ученые изгонялись из вузов и академических учреждений, отстранялись от своих должностей. В мае 1949 года М. К. Азадовский был уволен из Ленинградского университета, где заведовал кафедрой фольклора, созданной им еще в 30-е годы, и одновременно — из Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, где он также возглавлял фольклорный отдел. М. К. Азадовского перестают печатать (в 1949 году не увидела свет ни одна из его работ); его имя исчезает даже в тех научных изданиях, к которым он имел непосредственное отношение (подробнее о событиях того времени см.: Звезда.— 1989.—№ 6.—С. 157—176).

Вступление и публикация К. М. Азадовского.

Положение ученого, полностью отстраненного от научной деятельности, было для М. К. Азадовского ненормальным и невыносимым. Не желая мириться с огульными обвинениями и тенденциозной критикой, он уже летом 1949 года начинает борьбу за восстановление своего гражданского имени и научной репутации. Он обращается, в частности, к министру высшего образования СССР С. В. Кафтанову и Президенту Академии наук СССР С. И. Вавилову с просьбой пересмотреть принятые решения и снять с него «позорящие обвинения» (черновики или копии обоих писем хранятся в семейном архиве М. К. Азадовского).

Обращения к С. В. Кафтанову и С. И. Вавилову оказались, однако, безрезультатными. Тогда, в июне 1950 года, М. К. Азадовский направляет письмо С. Ф. Баранову (1895—1971), в то время — профессору Иркутского университета и депутату Верховного Совета СССР. Оба были хорошо знакомы: в 1942—1945 годах они многократно встречались в Иркутске (С. Ф. Баранов преподавал тогда в педагогическом институте). После возвращения М. К. Азадовского из эвакуации в Ленинград между ними устанавливается дружеская переписка. В 1946 году Азадовский способствовал успешной защите докторской диссертации С. Ф. Баранова в Ленинградском университете («Сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина 60—70-х годов»), охотно обсуждал с ним в дальнейшем его научные замыслы и труды: «Радуюсь успехам Сергея Федоровича»,—пишет он 3 января 1950 года писателю Г. Ф. Кунгурову (см.: Литературное наследство Сибири.— Т. 8.—Новосибирск, 1988.—С. 283).

Узнав о несправедливых гонениях, что обрушились на Азадовского в 1949 году, и его изгнании из науки, С. Ф. Баранов в письмах из Иркутска пытается морально поддержать своего старшего товарища. «Хотелось бы мне,— пишет Баранов 30 ноября 1949 года,—чтобы Ваше положение вновь упрочилось, и Вы снова могли бы начать работать на пользу науке. Вы могли бы — убежден в этом — сделать еще много». И в другом письме (11 февраля 1950 года): «Я знаю Вас лично, и потому Ваша грустная история для меня тягостна» (Рукописный отдел Российской Государственной библиотеки. Ф. 542, карт. 58. ед. хр. 8. Л. 25 об., 31 об.). Видя столь сочувственное отношение к нему С. Ф. Баранова, Марк Константинович решил в июне 1950 года послать ему официальное письмо-заявление, публикуемое ниже. (Разумеется, немалую роль сыграло и то обстоятельство, что весной 1950 года С. Ф. Баранов был избран депутатом Верховного Совета СССР от Иркутской области.).

Письмо М. К. Азадовского попало к С. Ф. Баранову и не было оставлено им без внимания. Были затребованы — конечно, по инициативе С. Ф. Баранова — отзывы авторитетных ученых о научной деятельности Азадовского. В семейном архиве (С.-Петербург) сохранились тексты писем академика В. В. Виноградова и профессора П. Г. Богатырева (оба письма — на имя С. Ф. Барано-

ва); в них содержится высокая оценка М. К. Азадовского как ученого.

«...Мне кажется,—писал В. В. Виноградов,—незаслуженно строгим лишение М. К. Азадовского всяких возможностей общественно обнаружить свою готовность и способность освободиться от прежних ошибок и содействовать развитию советского, марксистского литературоведения и советской науки о народном творчестве. У нас так мало серьезных, хорошо подготовленных и хорошо образованных специалистов по изучению русского народно-словесного творчества, что исключение проф. М. К. Азадовского из рядов исследователей, имеющих право работать в научных институтах литературы Академии наук СССР или в высших филологических учебных заведениях, признание его «в науке мертвым» (при предоставлении ему в то же время академической пенсии), по моему мнению, не может быть оправдано реальными интересами словесной науки».

Видимо, С. Ф. Барановым были предприняты конкретные действия в защиту Азадовского. Это можно понять из его письма к М. К. Азадовскому (от 5 сентября 1950 года), где сказано: «К сожалению, пока по поводу известного Вам дела я ничего не получил. Правда, времени прошло не так уж много». Далее, 26 ноября 1950 года С. Ф. Баранов сообщает в Ленинград: «Мне недавно стало известно, что вопрос о восст⟨ановлении⟩ Вас на работе будет разбираться Отд⟨елением⟩ яз⟨ыка⟩ и лит⟨ературы⟩ АН СССР» (РО РГБ. Ф. 542, карт. 58. ед. хр. 8. Л. 32, 34 об.).

Восстановиться на работе в университете, как и в Пушкинском доме, М. К. Азадовскому не удалось. Однако на рубеже 1950—1951 годов его положение постепенно меняется к лучшему. Его имя вновь начинает появляться в печати. В конце 1951 года в известной серии «Литературные памятники» был издан его капитальный труд «Воспоминания Бестужевых». Ясно, что усилия, предпринятые С. Ф. Барановым, в известной мере увенчались успехом. В одном из писем начала 1951 года М. К. Азадовский благодарит своего иркутского знакомого за оказанное содействие. «...Не знаю, за что Вы меня благодарите,—отвечал Сергей Федорович.—Ваше дело правое, а правда всегда должна победить. Следовательно, я — надо думать — только чуть-чуть ускорил все это...» (РО РГБ, Ф. 542, карт. 58, ед. хр. 8. Л. 36).

ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР, ПРОФЕССОРУ ИРКУТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
СЕРГЕЮ ФЕДОРОВИЧУ БАРАНОВУ

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,

я обращаюсь к Вам как депутату от Иркутской области, которая является моей родиной и в которой протекала в течение

длительного ряда лет моя научная и общественная деятельность. В Иркутской области провел я и годы Великой Отечественной войны, и моя деятельность этих лет протекала у Вас на глазах. Помимо того Вы являетесь признанным авторитетным специалистом в тех же отраслях научного знания, с которыми связана всецело и моя основная работа,— все это дает мне право обратиться именно к Вам с настоящим заявлением.

В мае прошлого года я уволен из состава профессоров Ленинградского государственного университета и одновременно уволен из состава научных сотрудников Института литературы Академии наук СССР. В высшей школе я проработал 36 лет, в Академии наук—19. В последней все 19 лет бессменно я руководил фольклорным отделом, созданным по моей инициативе и моему предложению.

Вместе с тем я фактически устранен от какого бы то ни было участия в научной жизни страны. Правда, имеется постановление Бюро Отделения Академии наук СССР (от 28 июня прошлого года), которым Институту литературы рекомендовалось привлечь меня к научной работе. Однако дирекция Института (в лице Н. Ф. Бельчикова) не только не привела в исполнение это решение, но поспешила вытравить все следы моего пребывания в Институте, вычеркнув из плана мои темы, изъяв из печатающихся работ мои статьи и вернув мне мои работы, принятые к печати. Как прямое следствие этого, прекращено печатание всех моих работ и в других издательствах.

В мое сознание не вмещается мысль, что в результате моей длительной научной деятельности я оказался вне рядов советской науки, оказался оторван от своего любимого дела, которому отдал свою жизнь и без которого не могу представить своего существования. В настоящее время имя мое называется в печати лишь как объект порицающей критики,—во всех других случаях оно замалчивается или просто-напросто экспроприируется. Так, например, совершенно недавно вышла в свет без упоминания моего имени целая книга, подготовленная мною к печати («Онежские былины» Гильфердинга, т. 1). Редакторы различных изданий и некоторые отдельные авторы ведут себя по отношению ко мне так, как будто бы я объявлен вне закона: я нахожу в разных статьях свои мысли, свои формулировки, даже свои подлинные выражения и т. д.—но все это без соответственных упоминаний, без ссылок и без сносок, и даже без кавычек (со стороны Главлита нет никаких указаний, оправдывающих такие методы). Авторы последней вузовской программы по фольклору (Василенок и Сидельников) не указывают не только моих работ, но даже и изданных мною таких сборников текстов, которые давно уже причислены к важнейшим памятникам нашей науки. Некоторые же руководители вузовских семинаров рекомендуют обращаться к моим работам, но не цитировать и не упоминать их.

Последним актом окончательного изгнания меня из науки явилось включение в план Института этнографии создание труда по истории русской фольклористики. Однако всем очень хорошо

известно (см., например, обзор работ по советской фольклористике В. Чичерова и Е. Гиппиуса в «Сов. этнографии», 1947, № 4), что мною выполнен большой 2-х томный труд (свыше 80 печ. л.), над которым я работал около 15 лет. Этот труд был представлен к Сталинской премии, получил высокую оценку в историко-филологической комиссии и был снят с обсуждения на Пленуме лишь вследствие разъяснения о выставлении на премию исключительно опубликованных работ, а не находящихся еще в рукописи. Конечно, сейчас этот труд, заканчивавшийся мною в дни ленинградской блокады, нуждается в значительной переработке. Первый том мною уже переработан, в начале прошлого (1949) года был сдан для направления в печать и получил высокую оценку рецензента. Включение же этой темы и поручение работы над ней другим лицам означает фактическое уничтожение основного и итогового труда всей моей жизни.

В печати же применяются в отношении меня такие приемы, которые не имеют ничего общего с подлинной, честной критикой и которые сурово осуждены советской печатью. Такие же приемы имели место в устных выступлениях (происходивших, между прочим, в мое отсутствие, когда я был прикован тяжелой болезнью к постели), — и именно эти выступления — печатные и устные — и явились причиной того положения, в котором нахожусь я в настоящее время.

Мой длительный научный путь не был освобожден от ошибок, порою весьма серьезных и значительных. Мне приходилось отмечать это уже в нашей печати. Посильный анализ своих важнейших ошибок сделан мною в письме на имя Президента Академии наук (от июня прошлого года), копию которого я прилагаю к настоящему заявлению. Из этого письма Вы увидите, как я рассматриваю свои научные ошибки и как представляю путь дальнейшей перестройки.

Но я не могу считать свои ошибки достаточной причиной для тех оргвыводов, которые были сделаны относительно меня,— тем более, что все эти ошибки не являются специфически-индивидуальными, но отражают общее состояние нашей науки и характерны для большинства (если не для всех) ученых, работающих в той же специальности. Так, например, мне особенно ставится в вину популяризация имени Веселовского. Но, ведь, в системе Академии наук существовала до последнего времени специальная комиссия по изданию полного собрания сочинений академика А. Н. Веселовского; я был по постановлению Президиума назначен членом этой комиссии и первое мое выступление, посвященное Веселовскому, было сделано по предложению Бюро Отделения общественных наук, когда решениями Президиума Академии наук и Министерства народного просвещения было организовано празднование 100-летия со дня рождения Веселовского. И мне непонятно, почему ответственность за популяризацию имени Веселовского легла всей тяжестью среди всех советских ученых только на одного меня.

Причины такого исключительного положения, в котором я

очутился, я усматриваю в той нездоровой обстановке, которая сложилась вокруг меня. Я должен сказать, что во всех посвященных мне выступлениях — как письменных так и устных — подлинная критика моих ошибок занимала очень скромное и незначительное место, в подавляющем же большинстве случаев эти выступления имели клеветнический характер и были основаны на приписывании мне таких суждений, которых я не только никогда не произносил и не писал, но которые абсолютно чужды мне по своей сути и против которых я неоднократно протестовал и боролся. Нет почти ни одного факта в моей деятельности, который не был бы превратно истолкован или не извращен.

Меня обвиняли в участии в западноевропейской научной печати, объясняя это различными недостойными советского ученого низменными соображениями. Между тем инкриминируемые мне выступления никак нельзя назвать участием в буржуазной печати Запада, ибо они имели место по прямому поручению ВОКСа, активным сотрудником которого я был в течение ряда лет, и были опубликованы в его изданиях. Все, что было когда-либо мной написано на иностранных языках, проходило через Президиум Академии наук и печаталось с ведома и санкции или его или Бюро Отделения. Добавлю к этому, что в имевших место выступлениях смысл и содержание этих моих работ были клеветнически искажены. Я же имею полное право сказать, что мои обзоры, опубликованные на иностранных языках, сыграли немалую роль в деле пропаганды советской науки, что неоднократно отмечалось и в печати. Сокращенные перепечатки и извлечения из них делались разными органами передовой западноевропейской печати, в том числе и «L'Humanité».

Вместе с покойным Ю. М. Соколовым я был зачинателем и организатором научного изучения вопросов советского фольклора, в печати же было заявлено (Леонтьевым и др.), что я всегда игнорировал изучение советского фольклора и препятствовал заниматься им. Не приводя многочисленных фактов, опровергающих данное голословное обвинение, укажу только на созданный по моей инициативе сборник статей о советском фольклоре (изданный фольклорной секцией ленинградского отделения ССП) и организацию ряда таких изданий в Академии наук. Советскому фольклору посвящен и ряд моих собственных статей. Вам лично известно, что по моей инициативе и под моим руководством было создано и проведено (в Иркутске, весной 1943 г.) первое в СССР совещание фольклористов по вопросам изучения фольклора Великой Отечественной войны. Вы были деятельным участником этого совещания и слышали все мои доклады и выступления.

Мне предъявлены обвинения в космополитизме, в антипатриотизме, в неуважении к русской науке, в пренебрежении к вопросам ее приоритета, в низкопоклонстве перед Западом, в формализме и пр. Ни одно из этих обвинений я не могу признать правильным и честным. Я категорически утверждаю, что ни в одной из моих работ по истории русской фольклористики нельзя найти ни одной строчки, которая могла бы позволить сде-

лать такой вывод. Более того, именно я всегда подчеркивал оригинальность и самостоятельность русской науки о фольклоре. Эта мысль лежала и в основе моего рукописного двухтомного труда по истории русской фольклористики. Я думаю, Вам более чем кому бы то ни было ясна вся необоснованность таких заявлений, ибо как раз Вы неоднократно слышали мои выступления на кафедре и в научном обществе по этому вопросу. Вам известно, что уже в июне 1942 года, когда данная тема еще не была так популярна и общепризнана, я, выступая на открытии в Иркутске Общества истории, языка и литературы, выдвинул в качестве основной задачи учет подлинной роли русской исторической и филологической науки и установление ее оригинальности и приоритета во многих отраслях историко-филологических изучений. И, в сущности, основной причиной моих ошибочных суждений в статьях о Веселовском было стремление противопоставить западноевропейской фольклористике русскую науку о фольклоре как отличное по своей идейной направленности и как наиболее прогрессивное течение в мировой науке. Когда в январе 1949 г. я представлял переработанный мной первый том «Истории русской фольклористики», то рецензентом (д-ром фил. наук В. Г. Базановым) была отмечена в качестве основного достоинства данного труда пронизывающая его глубоко патриотическая тенденция.

Обвинять меня в космополитических тенденциях возможно лишь при наличии определенной злой воли по отношению ко мне, и наличие последней легко обнаружить при сколько-нибудь внимательном анализе применяемых в данном случае приемов. Меня обвиняют даже в том, что я распространяю свои «космополитические тенденции» на страны новых демократий («Звезда», 1949, № 7); авторы в данном случае повторили в иной форме измышление Сидельникова (в «Литературной газете», 1947, № 26). Между тем статья, на которую ссылаются авторы («Русская фольклористика и славянские страны» — «Научный бюллетень ЛГУ», № 11—12, 1946), имела своей задачей опровергнуть общепринятые суждения по этому вопросу (например, концепция проф. М. Мурко) и показать самостоятельный характер славянской фольклористики, установив вместе с тем роль и значение для славянских стран русской науки.

Но Сидельников сломал одну мою фразу, процитировав лишь одну ее часть, причем ту, которая следовала за двоеточием, и таким образом придал всему прямо обратный смысл. Текст своей статьи в «Бюллетене» прилагаю, и Вы легко убедитесь, что только явно и сознательно недобросовестными методами цитирования можно интерпретировать ее так, как это сделали Сидельников и авторы статьи в «Звезде».

В той же статье Сидельников обвинял меня в игнорировании вопроса о наследии Добролюбова и Чернышевского,— между тем, каждому литературоведу известно (это отмечено и в учебниках), что именно мной впервые поставлен и разработан вопрос о значении в русской науке о фольклоре вождей революционно-демократической мысли. Моя статья «Добролюбов и

русская фольклористика» до сих пор не отменена и не заменена никакой другой.

Наиболее же характерным примером приемов, какими извращается и искажается смысл моей научной деятельности, является названная статья Абрамова и Лебедева. Позволю себе привести ряд цитат:

«Особенно неприглядно выглядит Азадовский в роли ученого-пушкиниста,—пишут авторы,—что сто́ит одно название его сугубо компаративистской статьи «Арина Родионовна **или** братья Гримм» (1934)». Но у меня нет статьи под **таким** заглавием: моя статья 1934 г. озаглавлена «Арина Родионовна **и** братья Гримм». Статья эта, конечно, очень ошибочна, но все же в ней нет того, что мне приписывается: я не противопоставлял в ней Гриммов Арине Родионовне и ни в этой статье, ни где-нибудь в другом месте не отрывал Пушкина от национальных корней. Да и зачем, вообще, ссылаться на газетную статью 1934 г., когда у меня имеется более поздний (1938) очерк, специально посвященный Арине Родионовне, вошедший в мою книгу «Литература и фольклор». Вот что я пишу: «Арина Родионовна была не просто няней-рассказчицей, но выдающимся мастером-художником, одной из замечательнейших представительниц русского сказочного искусства» (стр. 287) и далее: «Художественный метод сказки открылся Пушкину, несомненно, прежде всего в сказках Арины Родионовны. Это позволяет установить подлинное значение последней в творчестве Пушкина» (стр. 290); «Это значение можно определить так: она была среди тех художников-мастеров слова, у которых учился Пушкин. В сказках Арины Родионовны перед нами раскрылось подлинное и великое мастерство народных поэтов-сказочников» (стр. 292) — вот мое действительное мнение об Арине Родионовне и ее значении, которое было сформулировано еще более 10 лет тому назад.

Каждый раз, когда говорится о моих статьях по Пушкину, пользуются их ранними редакциями, причем иногда заведомо ложно их объявляют сокращенными вариантами последующих работ. Так поступают авторы и в данном случае, чем искажаются смысл и характер моих суждений о фольклоризме Пушкина. Я надеюсь, что Вы помните, что именно мной **впервые** поставлен вопрос о фольклоризме Пушкина как выражении его исторических интересов и его связей с историческими и эстетическими концепциями декабристов; я писал о понимании Пушкиным фольклора как орудия борьбы за народность и создание более широкой социальной базы для литературного творчества; обращение же его к сказкам рассматривал как выход на путь демократизации литературы и т. д. и т. д. Впервые же был дан мною анализ значения фольклорной стихии в «Капитанской дочке», что я связывал с пушкинским пониманием проблемы народных восстаний. Все это прочно вошло в науку и всеми принято, однако для характеристики моих суждений о Пушкине привлекается самый ранний очерк,

в котором эти темы еще не были затронуты и который произвольно именуется сокращенным вариантом всех моих высказываний по данному вопросу, хотя он был напечатан на год раньше. Помимо этого авторы статьи в «Звезде» не только неправильно интерпретируют мои основные положения, но просто-напросто изобретают свои формулировки, приписывая их мне и заключая их в кавычки, т. е. пишут и сочиняют за меня. На стр. 167—169 авторы пишут: «Приписав свою точку зрения Пушкину, Азадовский считает, что развитие русской литературы и культуры вообще ... должно следовать по великому пути западной культуры! ... Искусство, оставаясь национальным по форме, должно выражать все богатство международных идей». «Трудно высказаться более откровенно»,—заключают этот абзац авторы.

Категорически утверждаю, что эти формулировки придуманы самими авторами. Я никогда и нигде не высказывался сам и не приписывал Пушкину чудовищной мысли, что развитие русской литературы и культуры «должно следовать по великому пути западной культуры». Я писал не о каких-то «международных идеях», что звучало бы совершенно бессмысленно, а о «передовых идеях мировой литературы». Моя мысль в данном случае совершенно совпадает с тем, что позже говорил по аналогичному поводу А. А. Фадеев, имея в виду Белинского. «Прогрессивность понимания Белинским народности,—писал он,— состоит в том, что оно означало передовое просвещение (с его всемирным опытом)...» (цит. по журн. «Октябрь», 1948, № 7). Мне не удалось столь же четко сформулировать свою мысль, как это сумел сделать т. Фадеев, но, во всяком случае, в моей формулировке, как бы ни была она недостаточно точна, не заключается того, что мне приписано и что просто-напросто изобретено самими авторами статьи в «Звезде», а ранее их — Лапицким (в его устном выступлении).

Также выдумано и не соответствует действительности их утверждение, что я якобы устанавливаю зависимость Пушкина от Фориэля. «Азадовский уверяет,— пишут Абрамов и Лебедев,— что Пушкин стал записывать русские сказки только после того, как познакомился с книжкой Фориэля». Авторы сознательно лгут: нигде и никогда я этого не писал. Я не мог утверждать этого хотя бы уже в силу элементарной научной грамотности; ибо книга Фориэля вышла в 1825 г., Пушкин же записывал сказки в 1824 г. Об этом ясно говорится в моей книге.

Лживо утверждение, будто я приписываю Фориэлю роль «духовного отца русской фольклористики», «рядом с другим «отцом» — Гердером». Никогда ничего подобного — ни письменно, ни устно — я не утверждал. Наоборот, я говорил абсолютно противоположное: я всегда подчеркивал, что, вопреки часто встречающимся утверждениям, русская фольклористика XVIII века складывалась совершенно независимо от Гердера. Я не только не приписывал Фориэлю роли духовного отца или руководителя русской науки, но даже нигде не говорил о его **влиянии**. Единственно, о чем я говорил,—это о **встрече** русской передовой мысли (в

частности декабристской) с идеями Фориэля. Я указывал, что школа Фориэля вышла из идей Французской революции и ориентировалась на освободительную борьбу народов. Фольклоризм Пушкина формировался в атмосфере революционных тенденций декабризма. «Отсюда и близость воззрений на фольклор Пушкина и школы Фориэля». И далее буквально: «Это — не заимствование, но близость, возникшая на почве сходных условий развития и формирования идей» («Литература и фольклор», стр. 47), писано в 1937 году, опубликовано в 1938.

Эти факты, в сущности, не являются существенно важными, и я не стал бы специально задерживать на них Ваше внимание, если бы они не характеризовали так наглядно всю систему «критики» моих работ. В этом плане позволю себе привести еще одну цитату, как особенно типичную для применяемых ко мне «критических методов». В той же статье (в журнале «Звезда») в разделе, посвященном уже не мне лично, а «Библиотеке поэта», читаем: «Рассыпаясь в похвалах Веневитинову, Полонскому, Языкову, авторы предисловий всячески замалчивают недостатки и реакционные стороны их творчества...» О Языкове писал я, но стоит хотя бы бегло перелистать мою вступительную статью, чтобы убедиться, как абсолютно противоречит действительности такое утверждение. Основной задачей моей статьи было стремление проанализировать путь Языкова от прогрессивных и революционных тенденций его юности к правому крылу славянофильства. Я отмечал в его сборниках «идеи воинствующего шовинизма и порой прямо обскурантизма» (стр. XXI) и, подводя итоги, писал: «Языков кончил свой путь откровенным и открытым переходом на сторону реакции» (стр. XXXIV). Неужели все это можно назвать «замалчиванием реакционных сторон творчества»? Не свидетельствует ли подобная критика о сознательном обмане общественности и о стремлении авторов опорочить меня во что бы то ни стало, не считаясь никакими средствами?

Такого же рода обвинения, созданные таким же «методом», имели место и в устных выступлениях. Анализ их дан мной в письме на имя Президента Академии наук и нет необходимости вновь останавливаться на них. Укажу только, что такие клеветнические данные были сообщены и министру высшего образования, вследствие чего в его приказе появились явно неверные и неточные утверждения.

В приказе министра высшего образования сказано, что я «ученик Веселовского», тогда как я поступил на историко-филологический факультет Спб. университета через два года после его смерти; что будто бы я писал, что из всех сказок Пушкина только сказка о Балде заимствована из русских народных сказок. Однако такого утверждения нет в моих статьях, и мои подлинные формулировки имеют другой смысл и характер. Наконец,— и это особенно важно,—сказано, что по моей вине не было подготовлено ни одного специалиста. Я прилагаю копию своего письма к министру высшего образования, в котором дано подробнейшее фактическое опровержение такого утверждения. Я останав-

ливаюсь на нем особо сейчас, так как Вам-то особенно хорошо известно, какое количество моих учеников работало и работает в настоящее время в различных вузах и исследовательских институтах страны. Вам известно, как много времени и сам я всегда уделял работе с молодежью. Последний пример проходил у Вас на глазах. Я пробыл в Иркутске во время войны всего три года,— и, однако, этого оказалось достаточно, чтоб воспитать в полном смысле слова смену, которой и обеспечено сейчас преподавание литературы и фольклора на историко-филологическом факультете Иркутского университета. В настоящее время кафедра литературы в Иркутском университете состоит из шести человек,— из них четверо являются прямыми моими учениками; и. о. зав. кафедрой ныне также моя ученица, защитившая диссертацию в 1948 г. Мои прямые ученики работают в Иркутске: и в педагогическом институте, и в других учебных заведениях. Кроме того, ряд моих иркутских учеников военного времени работает сейчас и в других городах Союза (в том числе и в Москве). Вам все это хорошо известно, и Вы можете подтвердить справедливость моих слов. Добавлю, что в настоящее время и в самом Ленинградском университете основную работу по фольклору ведет моя ученица, защитившая диссертацию во время войны.

Таким образом, обвинение в том, что по моей вине не подготовлено ни одного специалиста, явно противоречит фактам. Также противоречит фактам и целый ряд других выдвинутых против меня обвинений, о чем я подробно писал и в письме на имя Президента Академии наук и о чем говорил выше в настоящем заявлении. Тем не менее все эти обвинения продолжают тяготеть надо мной, и я не имею никакой возможности их снять и реабилитировать себя. Вокруг меня создалась какая-то стена, пробить которую я не имею сил и возможности. Добиться личного приема у министра высшего образования я не смог. Постановление Бюро Отделения языка и литературы фактически аннулировано директором Института литературы. Печатать свои труды я не имею никакой возможности. Дискредитирование же меня как научного и общественного деятеля неизменно продолжается, и факты такого рода беспрерывно увеличиваются.

Первые месяцы после увольнения меня из университета и Академии наук я был абсолютно лишен каких бы то ни было источников существования, и только счастливое стечение обстоятельств позволило мне более или менее благополучно пережить это время. Ныне благодаря неустанной заботе партии и правительства о научных работниках материальная проблема тревожит меня в значительно меньшей степени, так как с 1 января 1950 г. мне была назначена вновь учрежденная пенсия работникам науки (пенсионная книжка № 1). Но остается в полной силе принципиальная и моральная сторона вопроса: вопрос о моем месте в науке и жизни.

Последние четыре года я работал с исключительным (для меня) напряжением, как, может быть, никогда раньше. В 1947 г. я опубликовал книгу «Очерки литературы и культуры в Сибири»,

в 1948 г. вышли в свет «Русские сказки в Карелии. Старые записи», в 1949 г.—однотомник Языкова в серии «Библиотека поэта». В это же время опубликована статья «Белинский и русская народная поэзия» и ряд других статей и очерков, из них два посвящены Радищеву и радищевцам. Кроме того мною за это время выполнен ряд следующих работ:

1. Переработал и значительно дополнил первый том своей «Истории русской фольклористики» и одновременно работал над книгой «Русская литература и фольклор».

2. Приготовил к печати большой очерк «Радищев и русская фольклористика XVIII века»,

3. Подготовил к печати «Онежские былины» Гильфердинга и написал для этого издания вступительную статью,

4. Написал статью «Вопросы фольклора у Маркса и Энгельса»,

5. Для предполагавшегося трехтомного собрания сказок (в издании Гослитиздата) подготовил том первый и написал к нему примечания, в которых разработал совершенно новый тип комментария,

6. Подготовил к печати однотомник Ершова для «Библиотеки поэта» (по большой серии),

7. Написал очерк «Вопросы народной песни в концепциях революционых просветителей 40-х годов»,

8. Написал статью «Фольклористика в годы реакции 1905—1917 гг.»

9. Написал ряд глав для учебника по фольклору, подготавливаемого Учпедгизом,

10. Последние месяцы и в настоящее время работаю над изучением жизни и деятельности знаменитого советского путешественника и исследователя В. К. Арсеньева, в частности обнаружил ряд неизвестных и затерянных его работ.

Не отмечаю различных мелких этюдов и набросков.

Очень многие из этих работ получили своевременно соответственную оценку, порою очень высокую, бóльшая часть из них была принята к печати, а некоторые уже находились в производстве. Теперь все это остановлено: печатание моих работ прекращено, договоры расторгнуты, а некоторые работы послужили материалом (без моего согласия и ведома) для работ других авторов на ту же тему.

Итак, предо мной встает вопрос: что же дальше? Неужели весь мой труд должен остаться втуне, неужели мои знания и мой опыт более не нужны моей стране и моему народу, а сам я должен оставаться изгоем в науке, процветанию которой я отдавал все свои силы! Я не принадлежу к ученым, которые упорно стоят на одном месте, не желая и не умея расстаться с когда-то сложившимися суждениями и представлениями; я прекрасно знаю, что история обходится без тех, кто не умеет включиться в ее поступательный процесс. Я многое за это время пересмотрел и передумал, но в создавшемся положении я не могу реализовать своих мыслей и таким образом лишен возможности принять

участие в дальнейшей творческой работе по созданию и укреплению нашей науки.

А между тем мне уже 62 года, и состояние моего здоровья таково, что мне совершенно ясно, как невелик оставшийся мне срок полноценной творческой жизни. Я смею думать, что факты, изложенные мною выше в данном письме, а также в раннем письме на имя Президента Академии наук, позволяют поставить вопрос о восстановлении моего права на участие в научной жизни страны.

...июня 1950 г.*
Адрес: Ленинград, ул. Плеханова, д. 56, кв. 3.

Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. К. АЗАДОВСКОГО

1888, 18 декабря — в Иркутске родился Марк Константинович Азадовский.

1896—гимназист Иркутской классической гимназии.

1906, февраль—май — путешествие в Берлин, Дрезден, Вену.

1907 — арестован за участие в Союзе учащихся Иркутска и в кружке «Братство», а также за хранение революционной литературы. Освобожден за недоказанностью обвинения.

1907—окончил экстерном Иркутскую мужскую классическую гимназию.

1907— студент юридического факультета Петербургского университета.

1908—1913—студент историко-филологического факультета Петербургского университета.

1910, май—октябрь — путешествие по Германии, Австрии, Швейцарии, Франции (Мюнхен, Нюрнберг, Страсбург, Кельн, Берн, Берлин, Париж).

1911—фольклорно-этнографическая поездка в Хабаровский край.

1913—окончил Петербургский университет. Оставлен при университете для получения профессорского звания.

1913—1914—научная командировка в Амурский край по поручению Отделения русского языка и словесности Академии наук.

---

* В машинописной копии данного письма, хранящейся у К. М. Азадовского, число месяца не проставлено. Рукописный оригинал скорее всего не сохранился. *(Прим. ред.)*

1914—1916 — член редакционной комиссии Отделения этнографии Российского географического общества (РГО); член редколлегии «Приложения» к журналу «Живая старина».

1915, июль—август—командировка в Верхнеленский край Иркутской губернии по заданию Сказочной комиссии РГО для сбора фольклорного материала. Работа со сказительницей Н. О. Винокуровой.

1915—1918 — преподаватель русского языка и литературы в восьмиклассном Петроградском коммерческом училище в Лесном; преподаватель 6-й Петроградской гимназии.

1918—1921 — старший ассистент, преподаватель, доцент кафедры литературы Томского университета.

1919—1920 — заведующий библиографическим бюро Института исследований Сибири (Томск).

1921—1923 — профессор Института народного образования в Чите.

1923—1930 — профессор, заведующий кафедрой литературы Иркутского университета.

1923—1929 — организатор и редактор журнала «Сибирская живая старина» (Иркутск).

1924 — член Русского библиографического общества при МГУ; член Секции научных работников Сибири (Иркутск).

1925 — член Центрального бюро краеведения АН СССР (Москва).

1925—1926 — редактор серии «Библиотека собирателя» (Иркутск); член оргбюро Первого Восточно-Сибирского краевого научно-исследовательского съезда (Новосибирск).

1925—1927 — научный руководитель ряда фольклорных экспедиций в различные районы Сибири; поездки в Тункинский район Бурятии, работа со сказителем Е. И. Сороковиковым-Магаем.

1929—1937 — редактор отдела литературы и искусства «Сибирской советской энциклопедии» (т. 1—3).

1930 — переезд на жительство в Ленинград.

1930—1932 — научный сотрудник Академии искусствознания; научный сотрудник Института книговедения; профессор Института речевой культуры (Ленинград).

1931—1942—руководитель фольклорного отдела в Институте истории искусств, в Институте по изучению народов СССР и в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

1934 — Президиумом АН СССР М. К. Азадовскому присуждена ученая степень доктора филологических наук.

1934 — член Союза писателей СССР.

1934—1936 — ответственный секретарь редакции сборника «Советская этнография» (Ленинград).

1934—1941 — редактор сборников «Советский фольклор» (Ленинград).

1934 — профессор Ленинградского университета.

1938 — организатор и заведующий кафедрой фольклора филологического факультета Ленинградского университета.

1942 — эвакуация в Иркутск.

1942 — организатор и научный руководитель Общества истории, литературы, языка и этнографии Сибири при Иркутском университете.

1942—1945 — профессор кафедр литературы университета и пединститута в Иркутске.

1943, 21—25 марта — организатор и научный руководитель совещания фольклористов и сказителей Сибири (Иркутск).

1945 — возвращение из эвакуации в Ленинград.

1945—1949—руководитель фольклорного отдела Государственного института по истории искусств; Института по изучению народов СССР; заведующий сектором фольклора Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом); заведующий кафедрой фольклора Ленинградского университета.

1945 — награжден орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся заслуги в развитии науки в связи с 220-летием АН СССР.

1946 — награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

1947 — участник 2-го Всесоюзного съезда Географического общества СССР (Ленинград).

1949—облыжно обвинен в космополитизме, подвергнут «обсуждению» на различных собраниях и заседаниях ученых советов Ленинградского университета и Института русской литературы АН СССР; освобожден от занимаемых должностей; отправлен на пенсию.

1951—1954 — участие в издании «Литературного наследства» (т. 59—60).

1954, 24 ноября — Марк Константинович Азадовский скончался. Похоронен на Охтинском кладбище в Ленинграде.

Воспоминания о М. К. Азадовском

Редактор
В. В. Шерстов
Художественный редактор
Н. В. Алсуфьев
Технический редактор
И. Н. Корецкая

ИБ № 912
Сдано в набор 11.11.92. Подписано в печать 28.03.94. Формат 84×108 1/32. Гарнитура Таймс. Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,3+вкл. 0,4. Усл. кр-отт. 11,6+вкл. 0,8. Уч.-изд. л. 13,8+вкл. 0,4. Тираж 2000. Заказ 1611. Темплан 1992, поз. 53.
Издательство Иркутского университета. 664000, г. Иркутск, центр, бульвар Гагарина, 36.
Омская областная типография. 644070, г. Омск, ул. Декабристов, 37.

СОДЕРЖАНИЕ

